

АРКАДИЙ И ГЕОРГИЙ
ВАЙНЕРЫ

ПЕТЛЯ
И КАМЕНЬ
В ЗЕЛЕННОЙ
ТРАВЕ

18+

PREMIUM

Петля и камень в зеленой траве

Георгий Вайнер

Петля и камень в зеленой траве

«Азбука-Аттикус»

1990

УДК 821.161.1
ББК 84(2Рос-Рус)6-44

Вайнер Г. А.

Петля и камень в зеленой траве / Г. А. Вайнер — «Азбука-Аттикус», 1990 — (Петля и камень в зеленой траве)

ISBN 978-5-389-20690-8

Классики русской литературы братья Вайнеры встали на опасный путь, за что вполне могли поплатиться свободой: в самый разгар «застоя» они написали остросюжетный роман «Петля и камень в зеленой траве», в котором разоблачали преступления сталинских и брежневских палачей. Они затронули в книге две максимально запретные темы: оставшиеся без возмездия злодеяния «органов» и «еврейский вопрос». Опубликовать роман удалось лишь в 1990 году. Прекрасная Суламифь ведет обычную жизнь советской служащей, исследует творчество еврейского поэта Бялика, ее возлюбленный Алеша — писатель средней руки, сын некогда важного чина из всемогущего КГБ. У обоих свои тайны, свои горести. Судьбы их семей переплетаются самым удивительным образом. В романе присутствует и трагическая история любви, и увлекательное расследование с погонями и открытиями. Все эти события разворачиваются на фоне серой обыденности, беспредельной лжи. Уродливая действительность, хоть и в относительно «вегетарианское» время, губит любую живую жизнь, всех, кто так или иначе не вписывается в убогие советские стандарты и хочет непозволительного — свободы... Внимание! Присутствует ненормативная лексика!

УДК 821.161.1
ББК 84(2Рос-Рус)6-44

ISBN 978-5-389-20690-8

© Вайнер Г. А., 1990
© Азбука-Аттикус, 1990

Содержание

От авторов	7
Часть первая	8
1. Алешка. 9 июля 1978 года. Москва	8
2. Ула. Мой дед	16
3. Алешка. Сговор	18
4. Ула. Моя родословная	24
5. Алешка. Игры	29
6. Ула. Встречи. Проводы	34
7. Алешка. Полет	39
8. Ула. Договорились – мишень с прицелом	43
9. Алешка. Брат мой Сева	50
10. Ула. Мой любимый	55
11. Алешка. Зуб буфетчицы Дуськи	62
12. Ула. Мой мир	67
13. Алешка. Семейный обед	71
14. Ула. Спор	79
15. Алешка. Обет	83
Конец ознакомительного фрагмента.	87

Аркадий и Георгий Вайнеры

Петля и камень в зеленой траве

© А. А. Вайнер, Г. А. Вайнер (наследники), 1990

© Оформление. ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“», 2021

Издательство АЗБУКА®

От авторов

Известно: у каждой книги своя судьба. И особый интерес вызывают судьбы нетривиальные.

Думается, роман «Петля и камень...» переживает именно такую, необычную судьбу.

Книга была задумана и написана в 1975–1977 годах, когда короткая хрущевская оттепель осталась далеко позади, – в самый разгар брежневского «застоя», в условиях, при которых строить какие бы то ни было политические прогнозы было, по крайней мере, авантюрным легкомыслием.

Все видели, к чему мы пришли; никто не мог сказать – куда мы идем.

Разгул всесильной административной машины, новый культ личности, океан демагогической лжи, в котором утонуло наше общество, нарастающая экономическая разруха, всеобщее бесправие – вот социальная и духовная атмосфера, в которой создавался и которую призван был воссоздать наш роман.

Задача казалась нереальной, тем более что авторы «умудрились» положить в его основу две самые запретные, самые острые, самые неприкасаемые «зоны»: незаконную деятельность органов госбезопасности того периода и – «еврейский вопрос»! И притом взяли себе принципом описывать правду, одну только правду, ничего, кроме правды...

Роман, судя по всему, был заранее обречен. Он и лежал «в столе» до поры, доступный лишь самым близким людям. С учетом печального опыта гроссмановской «Жизни и судьбы», сохранившейся просто чудом, авторы не показывали рукопись в редакциях, не хранили ее дома, а фотопленку с зашифрованным текстом укрыли в надежном месте, отклоняя лакомые предложения западных издателей, – это уже был горький урок Синявского и Даниэля.

Но рукописи не горят.

И приходит однажды их пора.

Август 1989 года.

Москва

Часть первая

*Подробности разгадки я не знаю,
Но, в общем, вероятно, это знак
грозящих государству потрясений.*

В. Шекспир. Гамлет

1. Алешка. 9 июля 1978 года. Москва

Я знал, что это сон.

Небыль, чепуха, болотный пузырь со дна памяти. Дремотный всплеск фантазии пьяницы. Судорога похмельного пробуждения.

Но сил прогнать кошмар не было. И не было мысли вскочить, потрясти головой, закричать, рассеять наваждение...

Услышал негромкий стук, даже не стук, а тихий треск расколовшегося дерева. Торчит из двери огромный нож. Кинжал с черненой серебряной ручкой, весь в ржавчине и зелени, еще мелко трясется. И прежде чем он замер, я разглядел на рукоятке выпуклые буквы «SSGG». И хотя я никогда в жизни не видел этого кинжала, я сразу сообразил, что это повестка тайного страшного суда ФЕМЕ. Не шелохнувшись, лежал я на тахте, глядя с ужасом на вестника кары, и пытался сообразить – почему мне? За что?

Дверь неслышно растворилась, и я увидел их. Трое в длинных черных капюшонах с прорезями для глаз и рта. Но обувь у них была обычная – черные полуботинки. И форменные брюки с кантом.

Они молча смотрели на меня, но во сне не нужны слова, мы хорошо понимали друг друга.

– Ты знаешь, кто мы? – беззвучно спросил один.

– Да, гауграф. Вы судьи Верховного трибунала ФЕМЕ.

– Ты знаешь, кто уполномочил нас?

– Да, гауграф. Вас наделили беспредельными правами властители мира.

– Ты знаешь, что мы храним?

– Да, гауграф – вы храните Истину и караете праздномыслов, суесловов и еретиков.

– Ты знаешь символы трибунала ФЕМЕ?

– Да, гауграф. Штрих, шпайн, грюне грас – «петля и камень на могиле, заросшей зеленой травой».

– Значит, тебе известен приговор ФЕМЕ?

– Да, гауграф. Суд ФЕМЕ выносит один приговор – смерть. Но я ведь никогда и ничего...

– Разве? – молча засмеялся судья. – А как хранится тайна ФЕМЕ?

– За четыреста лет никто не прочитал ни одного дела ФЕМЕ, и на каждом архивном пакете стоит печать: «Ты не смеешь читать этого, если ты не судья ФЕМЕ...»

– Ты хотел нарушить тайну ФЕМЕ, – мертво и решенно сказал гауграф.

– Но я ничего не видел! Я ничего не знаю! Я не могу нарушить тайну!..

– Ты хотел узнать – этого достаточно! – молча всколыхнулись черные капюшоны, и сквозь обессиливающий ужас забила мысль-воспоминание, что я их знаю.

– Я не хочу умирать! – разорвало меня животным пронзительным воплем, но гауграф протянул руку к кинжалу, и обрушился на меня грохот и пронзительный вой...

...Дверной звонок гремел настырно, въедливо. Тяжелыми ударами ломилось в ребра огорченное страхом и пьянством сердце.

Я приподнялся на постели, но встать не было сил – громадная вздувшаяся голова перешивала тщедушное скорченное туловище, и весь я был как рисунок человеческого тела в материнской утробе. В огромном пустом шаре гудели вихри алкогольных паров, их горячие смерчки вздымали, словно мусор с тротуара, обрывки вчерашней яви. Мелькали клочья ночного кошмара, чьи-то оскаленные пьяные хари – с кем же я пил вчера? – и вся эта дрянь стремилась разнести на куски тоненькую оболочку моего надутого черепа-шара. Кости в нем были тонюсенькие, как яичная скорлупа, и я знал, что положить ее обратно на подушку надо очень бережно.

Пусть там звонят хоть до второго пришествия – мне следует осторожно улечься, очень тихо, чтобы не разбежались длинные черные трещины по скорлупе моей хрупкой гудящей головы, натянуть одеяло повыше, подтянуть колени к подбородку, вот так, теснее, калачиком свернуться – так ведь и лежит в покое, тепле и темноте многие месяцы зародыш. Я зародыш, бессмысленный пьяный плод рода человеческого. Не трогайте меня – я не знаю ничьих тайн, оставьте меня в покое. Я хочу тепла и темноты. На многие месяцы. Я еще не родился. Я сплю, сплю. В моей огромной пустой голове шумит сладкий ветер беспамятства...

Потом – прошло, наверное, полторы-две вечности – я открыл глаза снова и увидел крысу. Худощавую, черную, в модных продолговатых очках. Я смотрел на нее в щель из-под одеяла – может быть, не заметит, что я уже не сплю. Но она сидела почти рядом – за столом – и в упор смотрела на меня. Я не шевелился, прикидывая потихоньку – может быть, юркнет крыса в дверь, вслед за ночными судьями?

Крыса посидела, пошевелила длинной верхней губой, где у всех нормальных крыс должны быть щетинистые рыжие усы, а у этой ничего не было, и сказала:

– Детки, в школу собирайтесь, петушок пропел давно...

Голос у крысы был тонкий и культурный. Но я на эти штучки не покупаюсь. Лежал не дыша, как убитый.

– Алешка, брось выдрючиваться, вставай, – сказала крыса, и ее культурный голос чуть вибрировал, будто она выдувала слова через обернутую бумагой расческу – есть такой замечательный инструмент у мальчишек.

Как прекрасно было бы мне жить в плаценте постели, маленьким, еще не родившимся в этот паскудный мир плодом! Как было бы тепло, темно и покойно во чреве похмельного сна! Но возникла крыса, и надо родиться в сегодняшний день. И я высунул в мир голову – благо за промчавшиеся вечности стала она много меньше и тверже.

– Здравствуй, Лева, – сказал я крысе, и этот мой первый новорожденный звук был сиплым и серым, как утро за окном.

– Тебе сварить кофе? – спросила крыса.

– Свари, пожалуйста, Лева, мне кофе, – ответил я вежливо, хотя хотелось мне не кофе, а пива. – А ты как попал сюда?

– А мне открыл твой сосед – такой милый старикан...

Милый старикан Евстигнеев – пенсионер конвойных войск, веселый стукач-общественник – впустил ко мне крысу.

Но Лева знал, что я спрашиваю его не о том, кто открыл ему дверь, а зачем он пришел ко мне. Штука в том, что когда я приоткрыл глаз и увидел его острый голодный профиль, чуть смазанный металлической оправой очков, я уже понял: случилась лажа, день моего новорождения отмечен какой-то крупной неприятностью.

Приятные неожиданности могут случаться и со мной, допускаю: умер Мао Цзэдун, мне дадут Государственную премию РСФСР или я угадаю шесть цифр в спортлото, но ни с одной из этих приятностей ко мне не явится спозаранку Лев Давыдович Красный. И не станет варить

мне кофе для опохмелочки. Он мне принес гадость, огорчение, боль – это все уже здесь, в моей комнате, он насыпает все это противное вместе с сахаром и коричневым порошком кофе в старую, закопченную турку, чтобы подать мне в постель этот странный напиток с горьковатым ароматом кофе и кислым вкусом беды. А я только что родился, я еще не оторвал пуповину сна...

Милый старикан-стукач впустил ко мне заботливую крысу.

Я вылез из постели и увидел, что спал в рубашке, брюках и носках. Пиджак валялся на полу, один башмак у двери, а другой почему-то на стуле. Не помню я – как вернулся домой.

Красный смотрел на меня с отвращением. У него неправильная фамилия – он не красный, он как петлюровский флаг – весь жовто-блакитный. Голубые подглазья, желтые скулы, синеватый от бритвы подбородок. Лихая замшевая куртка – нежно-оранжевая и роскошный небесный бантик. Он не Красный. Он жовто-блакитный.

– Хорошо отдохнул вчера? – спросил Лев Давыдович Жовто-блакитный.

– Замечательно. Жаль, что тебя не было, – сказал я совершенно искренне. Там, где я вчера налузгался, кто-нибудь обязательно поколотил бы крысу.

– Ты куда? Кофе уже готов! – закричал он, будто испугался, что я смоюсь со своей жилплощади и он не успеет укусить меня.

Успеет, наверняка успеет.

– Я в уборную. Можно?

– Спасибо за доверие, – засмеялся Лева, а длинные желтые зубы выдвинулись грозно вперед, и я на всякий случай попятился.

В гулком коридоре огромной коммунальной квартиры было совсем пусто, и только Евстигнеев отирался рядом с кухней, перекрывая дорогу в сортир.

– Доброго вам здоровьичка, Алексей Захарович, – сказал он с чувством.

– Здорово, Евстигнеев.

– Дружок к вам пришел спозаранья, звонил, звонил, я уж и пригласил его пройти. Видали?

– Нет, не видал.

– Не видал?! – всполошился Евстигнеев. – Он как вошел к вам, так я, почитай, все время из коридора не отлучался.

Рыхлые склеротические щеки Евстигнеева стали наливаться синевою.

– Куда же он подеваться мог? – волновался старичок, и все его надувное-набивное лицо перекатывалось серыми комьями. В тряпичной душе филера бушевали сильные страсти – ищейка сорвалась со следа.

Я поманил его пальцем и сказал на ухо тихо и значительно:

– Он, наверное, вышел через окно...

– Куда? – совсем взбесился Евстигнеев. – С пятого этажа-то?

– В эмиграцию подался. Знаешь, они какие!

А сам нырнул в уборную. Уселся и стал читать старые газеты, аккуратно сложенные в мешочек на двери. Газета сообщала, что строители сделали очередной трудовой подарок населению – пустили вторую очередь комбината по выпуску тринилфенилакриловой кислоты, в связи с чем больше нам не надо волноваться за судьбу анилинитрилового производства.

Прекрасно, хоть одна проблема для меня решена.

Вот тоже интересно – прополку сорняков на полях закончили в целом на неделю раньше. Славу богу, прямо гора с плеч.

Елабужские машиностроители взяли обязательство выпустить сверхплановой продукции на сто двадцать тысяч рублей. Какая там у них продукция – выяснить не удалось, потому что рядом с заметкой из газеты был опрятно вырезан прямоугольный кусок. Этой сортирной цензурой занимался Евстигнеев – он забирает из уборной к себе в комнату газеты и ножницами

вырезает с первых полос официальные фотографии, чтобы мы не оскверняли эти вдохновенные лица способом, особо унижительным для их достоинства.

Со стоном и рокотом бушевала вода в осклизлых сопливых трубах, черные космы паутины провисли по углам. По стене полз клоп. Тьфу, пропадите вы!

Между уборной и моей комнатой метался обезумевший от горя стукач, он крутился под дверью, как кот, вождельно и трусливо, его снедали тоска и желание просочиться в комнату через щелку под дверью.

– Алексей Захарыч, а как же теперь... – Он просунулся ко мне, но я отодвинул его несокрушимой рукой – железной десницей, красивой и могучей, как рука миролюбивых народов на плакатах, где она перехватывает хилые алчные грабки мировых империалистов, милитаристов, сионистов и прочих Пиночетов.

– Пошел вон, старик, – сказал я ему застенчиво. – Не светись у моей замочной скважины, не то я тебя ненароком дверью прищемлю...

– Дык... дык... Вить... – закудахтал Евстигнеев, но я уже был в комнате. Вместе с Жовто-блакитной крысой.

Лев Давыдович чинно кушали кофе. И вид у него был абсолютно невозмутимый, будто он каждое утро ненароком забегает ко мне вестишками перекинуться, кофейком побаловаться, о совместной вечерней жизни договориться. Но в его маленьком мозгу, ладно скроенном, хитро скрученном, нашей жизнью зло надроченном – по скользким глухим лабиринтам бесчисленных извилин и перегонным стрелкам нейронов уже мчались незримые электрические сигналы моей беды. И хотел я изо всех сил оттянуть разговор. Да крыса не спешила вцепиться в меня.

– Пей кофе, остынет, – сказал он.

– А у тебя выпить, случайно, не найдется? – спросил я безнадежно.

– Я по утрам не пью.

– Не ври, Лева. Ты и по вечерам не пьешь. Ты бережешь себя для народа.

Он пожал своими замшевыми худыми плечиками, и было в его коротком жесте неизбежное море презрения.

А я стал стягивать с себя все – ношеное, мятое, спаное, жеваное, грязное, и, пока я ходил голый по комнате, доставая из шкафа белье и с вешалки купальный халат, Жовто-блакитный смотрел на меня в упор с ленивым любопытством, и никакой неловкости он не испытывал, и не пришла ни на миг ему мысль, что надлежало бы отвернуться, – он смотрел на меня безразлично, как на животное, и чужая нагота его не смущала.

– Сейчас приду, – буркнул я и отправился в ванную.

В коридоре загрохотал мне навстречу копытами, подранком-кабаном покатился Евстигнеев.

– Я... с... тобой... Алексей... Захарыч... поговорю... в... другом месте...

– Цыц, старик! Не пререкайся! Ты говоришь со старшим по званию!

Я поджег газовую конфорку под колонкой, закурил сигарету и уселся на край ванны. Дым сладко и душно шибанул в голову. Затянулся круто, и голова стала надуваться и расти, как давеча, когда я был счастливым беззаботным зародышем, еще не убитым судьями ФЕМЕ.

Ровно гудело красно-синее пламя горелки, прыгали там огоньки, короткие и жадные, как кошачьи язычки, шумела вода из крана, и огорченно-сердито бубнил под дверью Евстигнеев. Вот, Господи, напасть какая – взяли они меня в клещи: с одной стороны – ватный кабан-стукач, с другой – замшевая злая крыса. Влез под душ, запрокинул голову, и струйки дробно, весело застучали по лицу. Они ласково стегали кожу, крепко гладили, усыпляли, успокаивали, шептали: ду-ш, до-ш, до-ш, до-ж, до-ждь. Но я помнил, что это не дождь, потому что такой мягкий дождь бывает только в мае и пахнет он травой и землей. А сейчас был июль, и пахло мочалками, скверным мылом и потом.

И Евстигнеев заходил под дверью:

– Поговорим... в... другом... месте...

Интересно было бы узнать поточнее этот метафизический адрес «другое место», в котором обычно собираются потолковать рассерженные друг на друга сограждане. Беда в том, что мало кто из них после этих разговоров оттуда возвращался.

Вытерся полотенцем и пошел к себе, за мной тряся рысью Евстигнеев, хрипел, булькал и рычал, и я боялся, что он меня цапнет стертymi резцами за икру. Уселся за стол, пригубил кофе, тут и Лев Давыдович счел увертюру законченной. Он прокашлялся, будто на трибуне, и сказал своим невыносимо культурным голосом:

– А у Антона очень большие неприятности...

Вот те на! Антон – неукротимый удачник, ловкач и мудрец, всегда благополучный, как таблица ЦСУ!

– Что с ним?

– С ним, собственно, ничего, но... – Выжидательно поблескивали желтые алчные бусинки под синеватым отливом модных очков.

– Слушай, Красный, брось мычать – говори по-человечески!

– Дело в том, что Димка трахнул какую-то девку, и...

– Ну и что? – нетерпеливо перебил я. – В его возрасте я это делал регулярно, и моих дядей не будили по такому поводу спозаранку!

– Но ты при этом, наверное, спрашивал у своих девок согласия?

– Лева, женщин не надо отвлекать пустыми разговорами – им надо дать себя в руки.

– Племянник оказался глупее тебя – он сам ее взял в руки и, как любит выражаться твой брат Антон, сделал ей мясной укол...

– А она что?

– А она с папой своим пошла на освидетельствование. Твой племянничек эту идиотку дефлорировал, – мерзким своим культурным голосом объяснял Жовто-блакитный.

И мне казалось, что он получал от всей этой пакости громадное тайное наслаждение. На лице его был пылкий налет озабоченности, всем видом своим он изображал готовность и решимость помогать Антону выпутаться из постыдной истории, в которую тот вляпался благодаря своему похотливому крестину. А я ему верил. В его бесцветном культурном голосе была еле слышная звонкая нотка счастливого злорадства: ну-ка, братцы Епанчины, покажите-ка себя как следует, вы же такие молодцы, красавцы и счастливыцы, вы же такие баловни жизни, вы же такие любимцы женщин, вы же наша замечательная элита, наш лучший в мире «истеблишмент»! А в суд не хотите? А с партбилетом в зубах к товарищу Пельше? А вообще, рожей по дерьму? Как? Нравится?!

– Что же делать? – спросил я растерянно. – Они ведь в милицию пойдут?

– Этого нельзя допустить, – отрезал Красный.

– А освидетельствование? Это же официально? – закричал я.

Красный поморщился:

– Не впадай в истерику. Ты человек юридически безграмотный...

– А какая тут нужна грамота?

– Изнасилование относится к делам частного обвинения – оно не может быть возбуждено без жалобы потерпевшей. Пока они не пошли в милицию – еще можно все уладить...

– Как уладить? Зашьем ее... обратно? Что тут можно уладить? Там, небось, вся эта изнасилованная семья по потолку бегают! Они Антона с Димкой в порошок сотрут!

– Не сотрут! – твердо взмахнул узкой острой головой Красный. – Я уже говорил с отцом...

– Да-а? И что?

– Сейчас мы с тобой поедem к ним.

– К кому? – не понял я.

– К потерпевшей. И к ее замечательным родителям. Ее зовут Галя Гнездилова, а его – Петр Семенович.

– А я-то зачем поеду? В каком качестве? Подтвердить породу? Или оценить качество работы?

Красный терпеливо покачал головой, смотрел на меня с отвращением.

– Алеша, ты – писатель, хоть и не генерал, но все же с каким-то имечком. Поэтому ты и будешь главным представителем всей вашей достойной семейки. Они ни в коем случае не должны знать, что Антон – начальник главка, иначе нам с ними никогда не расплеветься...

– Ничего не понимаю, бред какой-то. Они что – писательского племянника пожалеют, а сына начальника главка загонят за Можай? В чем тут логика?

– Мы их с тобой не будем просить о жалости. Мы им предложим ДЕНЕГ! – сказал он сухо и отчетливо. Будто дрессировщик щелкнул шамберьером над ухом бестолкового животного.

– Денег? – переспросил я ошарашенно. – А почему ты думаешь, что они возьмут у нас деньги? Почему ты решил, что они хотят денег?

Красный коротко хохотнул:

– Алеша, не будь дураком – денег все хотят. И деньги могут все.

– Так-таки все?

– Все. Если бы у меня вот здесь лежало сто тысяч, – он почему-то показал на маленький верхний карманчик куртки, – я бы вас всех купил. И продал бы, да, боюсь, покупателя не найти...

– Черт с тобой и со всеми твоими куплями-продажами. Но почему я должен предлагать ему деньги? А не Антон?

– Потому что ты как бы свободный художник – личность нигде не служащая, беспартийная, состоящая в одинаково бессмысленной и почтенной для дураков организации – Союзе писателей. Поэтому наш контрагент сообразит, что если мы не сойдемся в цене, то допечь он тебя никак не может, а деньжата при тебе останутся.

– А Антон?

– Антон – крупный деятель, член партии. Если эта история выльвет на свет, он сгорит. Поэтому изнасилованный папа, при некоторой напористости, разденет его до исподнего и доведет до полного краха. Ты пойми, что речь сейчас даже не о Димке, а обо всей карьере Антона...

– А где он сейчас, Антон?

– У себя в кабинете, сидит на телефоне.

Я механически прихлебывал кофе, не ощущая его вкуса, и меня остро томили два желания – выпить пива и вышвырнуть крысу в коридор на съедение кабану. Голова моя утратила свою ночную легкую воздушную округлость, она стала квадратной и тяжелой, как железный ящик для бутылок, – мои немногие мысли и чувства были простыми, линейными, они обязательно пересекались между собой. Досада на племянничка, прыщавого кретина, а поперек – жалость к Антону. Нежелание вмешиваться в эту грязную историю – и боязнь ужасного по своим последствиям скандала. Отвращение к Красному – и сознание, что только этот смрадный аферист может как-то все уладить. Стыд перед Улой – и возмущение: я-то тут при чем?..

Но было еще одно чувство, которое я всячески гнал от себя, а оно ни за что не уходило. В моем бутылочном ящике, где все эти нехитрые мыслишки и чувства уже сложились в удобные тесные гнезда для спасительного груза дюжины пива, начал потихоньку копиться ядовитый дымок страха.

Это был один из видов моих бесчисленных страхов – страх приближающейся опасности. Вообще-то, у меня полно разных страхов, из меня можно было бы устроить выставку, настоящую музейную экспозицию страхов. Как в этнографической коллекции, они развиваются у

меня от каменного топора – простого ужаса побоев до последнего достижения нравственного прогресса – опаски рассказывать политические анекдоты в компании более трех человек.

Страх, легкое дуновение которого я ощутил сейчас, был полупрозрачный, сизо-серого цвета, холодноватый, чуть шуршащий, он сочился из-под ложечки. Ах, если бы кому-нибудь удалось взглянуть на стенды моего музея – ведь там все мои кошмары экспонированы в цвете, звуке, в месте возникновения, там есть температурные и временные графики, таблицы социальной, семейной, сексуальной трусости, там стоят на тумбочках гипсовые слепки моих подлостей, окаменелые скелетики предательств, игровые диорамы моей изнаночной, вчерне проживаемой жизни...

Вот этот еле заметный предвестник опасности – быстро шевельнувшийся во мне сполох страха – заставил меня отшвырнуть чашку и, матерясь, полезть в брюки. Я не вышвырнул крысу в коридор, а стал собираться с ним к несчастному папе Петру Семеновичу Гнездилову, к его вонючке, которая сначала хороводится с этими лохматыми онанистами, а потом ходит на освидетельствование. Дело в том, что я почувствовал, даже не формулируя для себя: это довольно паршивое происшествие для всех нас, для всего нашего дома, и так просто оно не закончится.

Натягивая носок, я злобно бурчал себе под нос:

– Безобразие какое! Ну как тут можно книгу закончить? Каждый день какая-то пакость приключается! Дня нет покоя! Только соберешься, сядешь, тут бы сосредоточиться как следует – и пошло бы, пошло! Так нет же! Что-нибудь мерзопакостное уже прет на тебя, как поезд...

– Ты еще забыл о своем сердце, – сказал с серьезным лицом Жовто-блакитный.

– А что? – поднял я голову – сердито и подозрительно.

– Ничего – я просто вспомнил, что у тебя еще больное сердце. – И гадко усмехнулся.

Я долго смотрел на него, прикидывая – к чему бы это он?

И сказал ему очень внушительно:

– Заруби себе на носу, Лева, – мое сердце тебя не касается!

– В общем-то, нет, конечно, не касается. – Он пожал плечами. – Но относясь к тебе симпатично...

– Заруби себе на носу, что мне наплевать на твое отношение ко мне. И мои дела и болезни тебя не касаются! Заруби это крепко на своем носу!

– Оставь мой нос в покое, – недовольно сказал Лева. – Поехали.

В коридоре бесшумно катился нам навстречу Евстигнеев – он уселся переобуться, несмотря на жару, в подшитые валенки.

– Вот же он, Алексей Захарыч, дружок-то ваш... Вот же он!

И все всматривался, цепко, по-собачьи в костистую острую рожу Красного, запоминал старательно, взглядом липким, приставучим лапал, щупал его рост, одежду, особые приметы – а вдруг придется еще показания давать, не может он, ветеран службы, позорно мямлить: «не запомнил»! На то он и поставлен ответственным по подъезду, на то он и есть у нас старший по квартире, на то и служит внештатным участковым инспектором, чтобы все запоминать, все слышать, всех знать!

И хотя не до него мне было, а отказать себе в удовольствии не смог:

– Познакомься, Лева, с этим милым человеком...

Крыса вежливо показала желтые клыки, протянула сухую лапку, культурным голосом рокотнула:

– Красный.

И кабан тряпочный пихнул ему свою подагрическую лопату:

– Евстигнеев – мое фамилие, значица. С большой приятностью...

– Лева, это наш Евстигнеев, прекрасный парень, – сказал я. – Но у него, сукина ката, склероз стал сильнее бдительности. Написал на меня донос в милицию, прохвост эдакий, и по безумию своему опустил его в мой почтовый ящик.

Евстигнеев ухватился за грудь, будто собрался, как Данко, вырвать свое пылающее сердце пенсионера конвойных войск и осветить вонючую сумерь грязного длинного коридора. Красный испуганно отшатнулся. Но Евстигнеев сердце не вырвал, а только сипло и задушевно сказал:

– Неправда ваша, Алексей Захарыч! Не доносил я! Сигнализировал. Правду сообщал. В нашу родную рабоче-крестьянскую милицию. Для вашего же, можно сказать, блага и пользы! Чтобы провели с вами разъяснительную работу о недопустимости пьянства! Особенно среди писателей, людей, можно сказать, идеологических. Сиг-на-ли-зи-ровал!

На харе его был стукачевский восторг, искренняя вера в почтенность его гнусного занятия. Я и злиться не стал – плюнул и повлек за собой остолбеневшего Красного.

Вчера – спьяна – закатил я «москвича» двумя колесами на тротуар. Сейчас он был какой-то весь скособоченный, задрызганный, в ржавчине и потеках, несчастный, как заболевший радикулитом старый холостяк. На капоте кто-то написал много похабных слов, а на лобовом стекле вывел: «Хозяин – дурак!»

Вот уж что правда, то правда!

На сияющем «жигуле» Льва Давыдовича никто такого не напишет!

2. Ула. Мой дед

- Суламита! – позвал меня дед.
- Что, дед?
- Ты не спишь?
- Нет, уже не сплю.
- Ты горюешь?
- Нет, дед. Я грущу.
- Ты грустишь из-за него?
- Из-за всего. Из-за него тоже.
- Он ушел навсегда?
- Он вернется.
- Почему же ты грустишь?
- Он уйдет снова. И вернется. И уйдет.
- Почему, янике, почему, дитя мое?
- Я старше его.
- Намного?
- Прилично. На два тысячелетия...
- Ай-яй-яй! – огорчился дед. – Он – гой?
- Да.

Дед долго молчал, раздумывал, старчески кряхтел, потом спросил мягко:

- Суламита, дитя мое, ты полна горечи и боли. Ты любишь его?

– Да, дед.

– За что?

– Он умный, нежный, он кровоточит, как свежая рана.

– И все?

– Он – мой сладостный муж, он дал мне незабываемое блаженство.

– И только?

– Он – мой ребенок, отнятый злодеями, изуродованный и вновь найденный мной.

– А что они сделали с ним?

– Он пьяница, трус и лжец.

– Он знает, кто мы?

– Нет, дед. Не бойся: я не открыла ему великую тайну. Да он и не поверит.

– Это хорошо, – тихо засмеялся дед. – Суламита, янике, ты ведь знаешь, что плод, зачатый от них, принадлежит им.

– Дед, среди них есть масса людей прекрасных!

– Конечно, дитя мое! – прошелестел в темноте дед. – Но им не вынести такого...

– Почему же мы выносим? Как нам достает сил?

– Мы – другие, Суламита. Мы – вечны. Каждый из нас смертен, а все вместе – вечны.

– Почему, дед?

– Мы дети незримого Бога, чье истинное имя забыто. Он послал нас сюда вечными хранителями очага жизни. Из нас – тонких прерывистых нитей – он сплел нескончаемую пряжу жизни. Мы не можем погасить огонь, и не в наших силах прервать великую пряжу. Мы не вернемся в наш мир, не выполнив завета.

– Дед, почему наш Бог невидим?

– Мы не нуждаемся в образе Божьем. Мы носим Бога в сердце своем. И как нельзя заглянуть человеку внутрь сердца своего, так нельзя увидеть Бога.

– Всякий может уговорить себя, что у него в сердце Бог.

– Нет, – засмеялся тихо дед. – Или у тебя в сердце Бог – и ты это знаешь точно. Или твое сердце – глиняная кошка с дырочкой для медяков.

– Почему же Бог так карает нас?

– Всех людей карает Адонаи Элогим за нарушенный завет, но другие народы рассеялись, как мякина на ветру, иссякли, как дождь на солнце, изржавели, как потерянный в борозде лемех. А мы живы. И несем память своих мучений.

– Дед, объясни, почему я, почему мой крошечный дом должны нести ужасное бремя страданий за давно нарушенный завет? Разве я виновата?

– Нет, Суламита, твоей вины нет. Когда ты родилась?

– Девятого тишри пять тысяч семьсот восьмого года.

– Видишь, как давно мы пришли! Дом твой – каменный стручок на усохшей ветке сгоревшего дерева. И сама ты – зеленый листок с дубравы Мамре. Не ищи простых объяснений, отбрось пустые слова. Ты – живая нитка вечной пряжи, протянутой сюда из нашего мира...

Тающая темнота клубилась в окне. Дед замолчал. Теперь он будет молчать долго. Я встала с постели, прошла через комнату, и холодный пол нервно ласкал босые ноги. Уселась на подоконник и стала смотреть в пустой колодец двора. Угольная чернота ночи выгорела дотла, и со дна поднимался серый рассветный дым. Надсадно шипела где-то недалеко поливальная машина. Зябко. Я видела пролетающий над домом голубой ветер, он нес меня на себе, трепещущий зеленый листочек.

И, закрыв глаза, слушала тонкий звон приближающегося света.

– Суламита! – шепнул дед.

– Что, дед?

– А почему он так смеялся, глядя на меня?

– Его рассмешил твой картуз, твои пейсы, твоё пальто, застегнутое, как у женщин, на левую сторону...

– Да-а? – озабоченно переспросил дед, подумал немножко и спросил ласково: – Суламита, дитя мое, может быть, им не надо показывать меня?

Я слезла с подоконника, подошла ближе и посмотрела ему в лицо, и глаза его были в моих глазах. Блекло-серые, выгоревшие от старости. Девяносто четыре года. Какой он маленький! Сухие неподвижные губы.

– Дед, как же мне не показывать им тебя? Я последний побег твоей усохшей ветви. Ты – начало, я – конец, ты – память моя, а я – боль твоя, ты – разум мой, а я – око души твоей. Дед, ты – это я. А я – это ты...

3. Алешка. Сговор

Они жили в старом пятиэтажном доме, где-то за Сокольниками. Кажется, этот район называется Черкизово. А может быть, нет – я плохо разбираюсь во всех этих трущобах. Человеку, который здесь родился, не стоит на что-то надеяться – его жизнь всегда будет запроважена кислым тоскливым запахом нищеты.

Я шагал за Красным по темной лестнице и прислушивался к похмельной буре в себе, а Лева бойко, петушком скакал по ступенькам, и сзади мне видна была его тщательно зачесанная лысинка – белая, ровная, как дырка в носке. Он мазал свои волосенки «кармазином», и запах этой немецкой дряни пробивался даже здесь – сквозь кошачью ссанину и тухлый смрад плесени и пыли. Интересно, хоть какая-нибудь заваливающая бабенка любила Леву? С ним, наверное, страшно спать – просыпаешься, а рядом в сером нетвердом свете утра лежит на подушке покойник. Тьфу! Нет, с ним можно спать только за деньги.

На двери было четыре звонковые кнопки с табличками фамилий, и Лева, близоруко щурясь, елозил носом по двери, отыскивая нужный ему звонок. Сейчас он был особенно похож на крысу, принюхивающуюся к объедку, и я думал, что, как только найдет, сразу скусит пластмассовую кнопку. Но не скусил, а ткнул пальцем, дверь сразу отворилась, выкинув к нам на площадку обесчещенного папку – Петра Семеновича Гнездилова.

Я узнал его мгновенно, будто мы были сто лет знакомы, хотя, к счастью, я увидел его впервые. Бледное лицо, островытянутое, как козья сиська. Естественное благородное уродство сиськи было маленько попорчено толстыми роговыми очками.

– Здравствуйтесь, Петр Семенович. Моя фамилия – Красный, я с вами говорил по телефону. А это дядя Димы, известный советский писатель Алексей Епанчин...

– Очень приятно, читал я ваши юморески в «Литгазете» на шестнадцатой полосе. Приятно познакомиться.

Действительно очень приятно, просто неслыханно приятно познакомиться с таким известным писателем с шестнадцатой полосы! Да еще при таких возвышенных обстоятельствах!

Но он вовремя опомнился и сказал с горечью и гневом:

– Жаль только по печальному поводу...

А нахалюга Красный, не теряя ни мгновения, прямо тут же на лестнице бодренько воскликнул:

– Ах, Петр Семенович, голубчик вы мой, разве все в жизни считаешь – повод печальный, а может быть, радостью на свадьбе обернется!

И козья сиська глубокомысленно изрекла:

– Беды мучат, да уму учат!

Поволок нас Петр Семенович в комнату – по длинному, изогнутому глаголем коридору, забитому картонными коробками, деревянными ящиками, жестяными банками, цинковыми корытами, тряпичными узлами, бумажными пакетами и ржавыми велосипедами. Господи, откуда у нищих столько барахла берется?

– ...Мы в квартире наиболее жилищно обеспеченные... все-таки две комнаты... хоть и смежные... обещают дать отдельную квартиру... – блекотал Петр Семенович, – я слышал его будто через вату, оглохнув от ужаса предстоящего разговора.

Ввалились в апартаменты наиболее жилищно обеспеченного, и белообрисая ледащая девка с пятнами зеленки на ногах порскнула в соседнюю комнату, откуда сразу раздался шелчок и гудение телевизора. Наверное, чтобы соседи не подслушивали.

Я сидел за столом напротив Петра Семеновича и почти ничего не понимал из того, что он говорил. А он и не говорил даже, а плевался:

– Ответственность... народный суд... родители отвечают... дочь на поругание... девичья честь... моральная травма, не считая физической... моя дочь...

Он плевался длинными словечками, липкими, склеенными в скользкие струйки, они шквалом летели в меня:

– Моральные устои... наше общество... тюрьма научит... мы, интеллигенты... нравственность... наша мораль... приличная девочка... законы на страже... моя дочь...

Я пытался сосредоточиться, вглядываясь в его рожу, и – не мог. Меня почему-то очень отвлекало то, что он называл свою приличную девочку «дочь», и наваждением билось острое желание попросить его назвать эту белобрысую говнису «дщерь» – я точно знаю, что такое бесцветное плоское существо надо называть «дщерь». Я не понимал, что мне говорит ее папка, потому что против воли все время думал про то, как ее насиловал Димка. Собственно, не насиловал – не сомневаюсь ни секунды, он ее «прихватывал». В чьей-то освободившейся на вечерок квартирушке набились вшестером-ввосьмером, и до одури гоняли магнитофон, и под эти душераздирающие вопли пили гнусный портвейн, и не закусывали, а подплатывали таблетки димедрола, чтобы сильнее «шибануло». И плясали, и плясали, а эта сухая сучонка елозила своими грудишками по нему, а он уже таранил ее в живот свои ломом, и ей это было приятно, она все теснее притиралась к нему, и он глохнул от портвейна, димедрола, музыки и этой жалобной плоти, которую и в пригоршню не собрать, а потом они – оба знали зачем – нырнули в ванную, заперли дверь и долго слюняво мусолили, пока он, разрывая резинку на ее трусах, запустил потную трясущуюся ладонь во что-то лохматое, мокрое, горячее, и для такого сопляка это стало постижением благодати, и остановить его могла только мгновенная кастрация, но никак не ее вялые стоны – «не надо, Димуля, не надо, ну не надо, я боюсь, я...» – а он уже там! Он уже урчит, поросенок, ухватившись за ее тощие ягодицы, и нет ему, гаду, никакого дела до того, что завтра за эту собачью случку надо будет: ему – в тюрьму, Антону – прочь с должности, а мне сидеть здесь и слушать этого смрадного типа...

С какой стати?

Меня больно ударил под столом Красный, и я сообразил, что неожиданно заорал вслух.

– Что «с какой стати»? – насторожился Гнездилов, и сиська его сразу надулась, покраснела, напряглась – сей миг ядовитое молоко брызнет.

– Не обращайтесь внимания, Петр Семенович, – подстраховал Красный. – Алексей, как все писатели, задумчив и рассеян. Так вот, я хотел сказать, что, может быть, они любят друг друга, зачем эта гласность, они ведь могут пожениться...

– Что же вы, Лев Давыдович, совсем меня за идиота держите? – обиженно засопел Гнездилов, толстые очки его вспотели. – Мы же интеллигентные люди, чай, не в старой деревне живем, где надо было – по дикости – позор женитьбой прикрывать, нам от такой женитьбы один наклад. А стыда мы, слава богу, не боимся – без стыда лица не износить, как говорят. Да и стыдиться нам нечего, это пусть такого выродка ваша семья стыдится. А моя дочь экспертизой освидетельствована именно как приличная девушка...

Наступила тишина за столом переговоров, только в соседней комнате горланил телевизор, гугниво и нагло, как пьяный.

Господи, как давно – сегодня утром – я был народившимся плодом... А проныра Лева снова сделал бросок, уцепился тонкой лапкой:

– Так если вы, Петр Семенович, возражаете против брака Галочки с Димой, то уж, сделайте одолжение, поясните свою точку зрения...

– А я не возражаю – хотят, пусть женятся. Это их дело, нынешняя молодежь сегодня женится, завтра расходится. Но я, как родитель моей единственной дочери, ее воспитатель, обязан думать о ее будущем. А поскольку ее будущему в результате насилия нанесен огромный ущерб, то я ставлю вам условие: или вы компенсируете в какой-то приемлемой форме этот

ущерб, или ваш пашенок пойдет в тюрьму... Это мое слово окончательное, и если вы не хотите ужасных неприятностей...

И по тому, как он визжал, вздрючивая свою нервную систему рептилии, я видел, что он опасается, как бы мы не ушли без возмещения ущерба.

– И мы полны стремления договориться о форме и размерах возмещения, – сладко буркотел Лев Красный.

Прислушиваясь к их сопению, возне и перепалке, я вспомнил, как у нас любили освещать в прессе любимый аттракцион загнивающего Запада: на потеху толстым буржуинам две голые бабы дерутся на ринге, залитом мазутом. Два противных мужика передо мной бились сейчас всерьез на ринге, залитом жидким дерьмом. К счастью, одетые!

– Пять тысяч!

– Две тысячи...

– Никогда! Пусть идет в тюрьму!

– Две с половиной... И женится.

– На черта он нужен! Четыре восемьсот! Молодо-зелено, погулять велено.

– Две семьсот. Это взнос за однокомнатный кооператив...

– Сами-то, небось, в трехкомнатной мучаетесь? Четыре шестьсот!

– Вас в трехкомнатную не примут... Две девятьсот.

– А где же ее, однокомнатную, взять? Пятьсот рублей – на взятку только!

– Три ровно! И мы устроим кооператив.

– Три с половиной! Ваш кооператив, и пусть женится, паскудник!

– Хорошо, три с половиной, наш кооператив, но без женитьбы... По рукам?

– Что взято, то свято... – умиротворенно заключил Петр Семенович Гнездилов и замотал довольно своей козьей сиськой. – Но деньги чтобы были сегодня у меня.

И похлопал конопатой ладонью по короткой жирной ляжке.

Красный водил «жигуль» так же, как носил свою нарядную одежду, – аккуратно и бережно. От изнурительности этого черепашьего движения, кармазинного запаха Левкиных волосиков, духоты и пузырящегося еще в желудке страха тошнота стала невыносимой, и на Садовой я заорал ему «Стой!», выскочил из машины и нырнул в магазин с застенчивой вывеской «Вино». Время подходило к двенадцати, и за час торговли водкой очередь уже прилично рассосалась – к прилавку, огражденному стальной звериной сеткой, стояло не больше человек тридцати. И несколько сразу повернулись ко мне:

– Тройть будешь?

– Возьмем пополам?

– Але, у меня стакан есть...

– Слышь, друг, дай семь копеек, на четверочку не хватает...

Страшная мордатая баба-торгашка с жестяным белым перманентом жутко крикнула из-за прилавка:

– Ну-ка, не орать, алкаши! Щас всех отседа вышвырну! Прекращу продажу.

И все притихли, забуркотели негромко, забубнили на низких, и зрелище это было почище любой цирковой дрессуры – от одного окрика уселись на задние тридцать черных, трясущихся, распухших, разбойного вида мужиков. И правильно сделали, потому что там, за стальной сеткой, в бесчисленных ящиках стоит себе в зеленых бутылочках сладостный нектар, единственное лекарство, одна радость, дающая и веселье, и компанию из двух других забулдыг, и свободу, и счастье. Водочка наша нефтяная, из опилок выжатая, ты же наша жизнь! Пока ты льешься в наши сожженные тобой кишки – весь мир в тебе, и мир во мне.

И над всем этим счастьем хозяйкой вздымается мордатая торгашка. Захочет – опустит сетку над прилавком, краник кислородной подушки перекроет. Напляшешься тут перед ней, как висельник на веревке, наунижаешься вдоволь, пока эта сука краснорожая смилостивится.

А чего поделаешь? Все тут ей должны и обязаны – один пять копеек, другой бутылку не вернул, третий до одиннадцати бутылку выпросил, а четвертый – после семи. И не вякни – вся милиция окрестная у нее в подсобке отоваривается. И четвертинки всегда в дефиците, так если она хорошо относится – сама по полбутылки разольет и с маленькой наценочкой отдаст. Нет, не денешься никуда – в соседний-то магазин бежать глупо, там ведь тоже в очереди снова час стоять, и другая мордатая грозная торговка, да и за всяким другим прилавком в сотнях тысяч лавок со стыдливой надписью «Вино», которого сроду там и бутылки не было, а только нефтяная да древесная водка и кошмарные спиртовые опивки с краской под названием «портвейн» – везде стоят эти страшные бабы.

Об этом я подумал как-то мельком, подтираясь поближе к прилавку, и очередь не слишком на меня заводилась – потому как не знали еще, с кем я троить или половинить стану. Только вяло сопротивлялись, сдвигаясь тяжелыми плечами, и шел от них невыносимый дух перегара, табачища, немытого пота, подсохшей вчерашней блевотины. Кабы старик Перельман – автор «Занимательной арифметики» – ходил в водочные магазины так же часто, как я, наверняка построил бы он красивый арифметический этюд: «Если всех людей, которые каждый день стоят за водкой во всех питейных заведениях, выстроить в одну шеренгу, то получилась бы очередь от Земли до Луны...»

Торговка привела очередь к порядку и стала снова отпускать бутылки. Но тут же все застопорилось: из толпы выскочила на середину тесного магазина полупьяная девка с огромным переливчатым фингалом, похожим на елочную игрушку, и стала плясать. И громко петь при этом:

– Я тя, Клашка, не боюсь.
Голой жопой обернусь,
Поцелуй меня ты в зад,
Коль частушечка не в лад!
Ух-ты, ах-ты, все мы – космонавты!

Очередь довольно захохотала, заерзала радостно, а торговка Клашка подняла свою бычью голову и сказала мрачно, полным ртом:

– Параститутка. Вон отседова! А вы, пьянюги паскудные, пока не вышвырнете ее – банан сосите, а не водку...

И грохнула сетку вниз. И звериная тоска заполнила магазин.

– Фроська, сука, че натворила?

– Фроська, голубушка, иди себе, не даст она тебе все равно...

– Достукаешься, Фроська, посадит она тебя...

– Фрося, брысь на улицу, мы тебе сольем...

– Фроська... Фросинька... Фросюка... Фрося...

И поволокли ее, упирающуюся и матерящуюся, из магазина. И обратно – к сетке:

– Кланя!.. Клаша!.. Клавочка!.. Клавдия Егоровна!..

А я-то – уже перед сеточкой! Я-то своих собратьев соплеменных хорошо знаю – никто под злым оком Клавдии Егоровны не посмеет стоять столбом, когда есть команда вышвырнуть Фроську взашей! Нельзя не обозначить активного участия в выдворении нечестивки из храма людской радости, когда верховная жрица Клашка уже опустила большой палец долу. И пока проводилась карательная экспедиция, я уже пророс сквозь сетку четырьмя рублями и паролным кличем: «Без сдачи!»

Заворошились, закипели, задундели, вскрикнули, пронзительно заголосили разом:

– Гад... паскудина... Кланы – не давай... Сукоед... без очереди... а мы – не люди?... потрох рваный... не давай... долбаный... курвозина поганая... Васька, держи... без очереди... сучара хитрожопый... ж-и-и-д!.. жид!..

А Клавдия Егоровна, нежная душа, повела взором на них суровым, а мне тепло улыбнулась – фунт золота в пасти показала – и сказала доверительно:

– Вот темнота-то, житья от них нет, пьянь проклятая, – и гаркнула коротко: – Молчать! Тихо!..

И все замолчали, задышали гневно, и успокоились, и стихли. И стоил их протест ровно тридцать восемь копеек сдачи, которые я оставил голубице Клаве. По копейке на рыло. А она мне к бутылке еще дала соевый батончик – закусить. И пока я шел к двери мимо очереди, они все бурчали обиженно, но вполне миролюбиво:

– Ишь, шустрик нашелся... тоже мне ловкач – хрен с горы... а мы что – не люди?..

Я ответил последнему коротко:

– Вы – замечательные люди...

Отверженная Фрося сидела на ящике неподалеку от дверей магазина. Грязными пальцами она ласкала свой бирюзовый синяк и тихонько подвывала. Эх, художнички-передвижнички, ни черта вы в жизни не смыслили. Вот с кого надо было писать «Неутешное горе». Я сорвал фольговую пробку, крутанул бутылку и сделал большой глоток.

Ослеп. Слезы выступили на глазах, я задохся, и водка раскаленным шаром стала прыгать вверх-вниз по пищеводу – между гортанью и желудком, еще не решив – то ли вылететь наружу, то ли сползти в теплую тьму брюха. Пока не просочилась все-таки вниз. Прижилась. И сразу стало легче дышать, и тяжесть в голове стала редеть, тоньшиться и исчезать. Откусил полбатончика, разжевал и сразу же махнул второй раз из бутылки.

И на душе полегчало, и мир стал лучше. И полбутылки еще оставалось. Подошел к Фросе, толкнул ее в плечо:

– На, Фрося, выпей... – поставил на асфальт бутылку и сел к Левке в машину.

– Что ты там делал? – спросил он, притормаживая у Колхозной площади.

– Я хотел ледяной кока-колы или оранжада, но эти странные люди почему-то назвали меня жидом. Черт побери, как обидно, что у нас есть еще отдельные несознательные люди, чуждые идеям интернационализма.

– К счастью, их совсем мало, – серьезно ответил Красный. – Миллионов двести.

– А куда ты дел остальные шестьдесят? – поинтересовался я.

– Они еще не слышали про жидов. Но все впереди... Культурный рост малых народов огромен.

– Не сетуй, Лева. Вы платите незначительные проценты на прогоревший политический капитал ваших отцов и дедов.

– А почему мы должны платить? – спросил Лев. – Почему именно мы?

– Читай историю. Ваши деды и отцы все это придумали. И уговорили, конечно, не немца, и не англичанина, и не француза, а самого легковверного и ленивого мужика на свете – русского, что, мол, можно построить рай на земле, где работать не надо, а жрать и пить – от пуза...

– Этому вас на политзанятиях в Союзе писателей учат? – поинтересовался Красный.

– Нет, этому нигде у нас не учат. Это мне пришлось самому долго соображать, пока я не понял, что коммунизм – это еврейская выдумка. Воображаемый рай для ленивых дураков.

– Алеша, а ты не боишься со мной говорить о таких вещах? – сказал безразличным голосом Красный, но я видел, как у него побелели ноздри.

– Нет, не боюсь.

– Почему?

– Потому что ты еврей. Во-первых, тебе никто не захочет верить, понимаешь – не захотят. Я – советский ариец. А ты еврей. А во-вторых, благополучие всех Епанчиных – это и твое благополучие. Антон – это сук, на котором ты надеешься просидеть до пенсии...

– Что ж, все правильно, – пожал он замшевыми плечиками.

Тут мы и подъехали к дому на улице Горького, на подъезде которого висела тяжелая парадная доска: «Главное управление по капитальному ремонту жилых домов Мосгорисполкома». Заперли машину и пошли к Антону.

4. Ула. Моя родословная

Еще ночь, но уже утро.

Таинственный миг суток – из черных чресел ночи рождается день.

Сумрак в комнате – не свет, а рассеянные остатки тьмы.

Размытое пятно на стене – драповое пальто деда, застегнутое на левую сторону.

Фибровый чемодан на полу раскрыт. Это наш родовой склеп. Это пантеон. Семейная усыпальница. Картонный колумбарий. Святилище памяти моей. Мое наследство – все, что мне досталось от умершей тети Перл. Чемодан полон фотографий. Там – мы все.

В рассветный час ожидают бессмертные души давно ушедших людей. По очереди, но очень быстро они заполнили мою маленькую квартиру – кирпичный стручок на усохшей ветви давно сгоревшего дерева ситтим, драгоценного дерева Востока.

Сядьте вокруг нашего деда, древнего Исроэла бен Аврума а Коэн Гинзбурга. Сядьте вокруг, семья его и ветви его. Сядьте, праведники и разбойники, мученики и злодеи. Сейчас вы все равны, вы все уже давно за воротами третьего неба. А судить вас пока никто не вправе – еще не выполнен завет, но ветви срублены и семья втоптана в камень.

Сядь, бабушка Сойбл, вот сюда, в кресло, по левую руку деда. Это твое место, ты занимала его сорок два года – всем на удивление, всем на зависть. Сочувствием, вздохами, усмешками провожали под свадебный покров «хыпу» тебя – нищую восемнадцатилетнюю красавицу, принятую в дом завидным женихом – богатым купцом Гинзбургом, имеющим сто сорок тысяч рублей, три магазина, четырех детей и пятьдесят два года от роду. И бежал по местечку Бурбалэ-сумасшедший, и кричал нараспев: «...и была девица Ависага Сунамитянка очень красива, и ходила она за царем, и прислуживала ему, и лежала с ним, и давала тепло состарившемуся Давиду, но царь Давид не познал ее...»

И смеялся мой дед над сумасшедшим Бурбалэ, и познал тебя, бабушка Сойбл, и была ты ему сладостна, как мед, и радостна, как вино, и животворна, как дыхание Господне. Двенадцать сыновей и дочерей ты подарила деду, и в твоей огромной любви к нему пробежали годы, долгие десятилетия, и за то, что прилепились вы так друг к другу, Бог даровал вам величайшую радость – вы умерли в один день, в один час, в один миг.

Двенадцать детей, двенадцать колен, двенадцать ветвей. «Всему свое время, и время всякой вещи под небом; время рождаться и время умирать...»

Все вы собрались ко мне, кроме дяди Иосифа, седьмого сына, потому что он один еще жив. Но он никогда здесь не бывает.

Присел на стул у окна Абрам – первенец, умница, талмудист и грамотей, лучший ученик иешибота, которого в тринадцатом году возили к виленскому цадику, и старый гуэн сказал: «Доброе имя лучше дорогой масти, и день смерти лучше дня рождения», и все поняли, что уготована Абраму стезя еврейского мудреца и святого. А он спутался со студентами-марксистами, попал в тюрьму, вышел большевиком, стал комиссаром и секретарем Уманского горкома ВКП(б), и не было лучше оратора, когда с трибуны, обитой кумачом, разъяснял людям политику «на текущем моменте». Момент тек и тек, пока его светлые воды не подхватили дядю Абрама и не снесли в подвал областного НКВД, и дядя Иосиф слышал из соседней камеры, как волокли по коридору Абрама на расстрел и он кричал сиплым, сорванным голосом, захлебываясь кровью и собственным криком: «...Товарищи!.. Коммунисты!.. Это секретарь горкома Гинзбург! Происходит фашистская провокация!.. Товарищ Сталин все узнает! Правда восторжествует! Да здравствует товарищ Сталин!..»

У Абрама с его женой Зинаидой Степановной Ковалихиной, заведующей наробразом, детей не было. Наверное, потому, что они были старыми товарищами по партии и дети отвлекли бы их сначала от революции, затем от мирного строительства, а потом от текущего

момента. В газете «Уманская правда» Зинаида Степановна напечатала письмо, в котором известила своих единомышленников и прочее народонаселение, что очень давно замечала у своего мужа бундовские замашки, меньшевистские шатания и троцкистское вероломство, всегда давала им твердый большевистский отпор, в связи с чем он затаился, пробрался к руководству городской партийной организацией и где только мог пытался троцкистско-зиновьевски-каменевско-бухарински вредить партии и родному народу, пока пламенные чекисты, возглавляемые железным наркомом – дорогим товарищем Ежовым, – не сорвали лживую маску с его звериного облика замаскировавшегося фашиста и врага народа. В связи с чем она официально отрекается от него.

Я видела ее однажды – седенькая говорливая старушка с безгубым ртом, в грязной кофте с орденом на отвороте. Она работала директором Музея революции СССР.

А тогда – жарким страшным летом 1937 года – сидел дед на полу в комнате с занавешенными окнами, перед семью негасимыми свечами священной меноры и в плаче и стенаниях просил неумолимого и милосердного Господа, чье сокровенное имя Шаддаи, чтобы растворил он двери третьего неба и выпустил грешную душу любимого сына-мешумеда и соединилась бы она там с душами еще двух братьев – Нухэма и Якова.

Вот они – и здесь они стоят в разных углах, и здесь они во всем различны. Огромный, под потолок, дядя Нухэм, в кубанке, весь в ремнях, со шпорами на коротких сапожках. Краснознаменец, кавалерист, пограничник. Дядя Яков, печальный, тихий человек в очках без оправы, шмурыгающий от непроходящего насморка носом. Учитель, книжник, сионист.

Четверть века топтал землю толстыми ногами дядя Нухэм. И много преуспел. Гулким ручьем пустил он по земле кровь человеческую – Кронштадтский мятеж он подавлял, и в расстреле Колчака участвовал, и бандитов-антоновцев ловил. Но дядя Нухэм знал не только, как лучше наладить сельское хозяйство и устроить прекрасную жизнь русским крестьянам. Позвали – и он поехал устраивать счастье дехкан и скотоводов в Среднюю Азию.

Тогда еще все были живы – все двенадцать ветвей, все двенадцать детей, и дед в тоске говорил сыну – красному командиру: ты красен, как раскаленный нож, ты красен, как лицо греха, ты красен, как безвинно пролитая кровь. Остановись, сын мой!

«Лучше ходить в дом плача об умершем, чем в дом пира – ибо таков конец всякого человека, и живой приложит это к своему сердцу...»

Но душа Нухэма уже омертвела, заржавев от пролитой крови.

Он уехал усмирять басмачей, диких бедных людей, которые никак не соглашались отдавать пищу, кров, жен и своего Бога. Нухэм хотел превратить их дом плача в общий дом пира. И басмач прострелил ему голову.

И сказал дед в скорби и слезах: «Смотри на действие Божие: ибо кто может выпрямить то, что Он сделал кривым?»

А дядя Яков – читал, учился и учил. Бог не дал ему орлиного глаза, глаза Нухэма, и потому взирал он на жизнь не через прорезь прицела, а сквозь тяжелые крученые буквы старых пергаментов. Когда-то он прочитал книгу доктора Теодора Герцля, и взор его был обращен в прошлое, которое провиделось ему днем завтрашним. Кончается пора диаспоры – пришло время собираться на берега Сиона, где все мы будем мирно, трудолюбиво и радостно счастливы. Он проповедовал перед своими друзьями и влюбленно смотрящей на него женой Ривой, и щеки ее рдели от восторга и чахотки.

А дед грустно смотрел на друзей и учеников Якова, качал головой и мягко объяснял сыну: «Есть время искать, и время терять, время молчать и время говорить...»

Они исчезли однажды ночью, будто архангел Метатрон унес их в преисподнюю. Осталась от них на руках у бабушки Сойбл четырехлетняя тихая девочка Мифа и пришедшее полгода спустя уведомление о том, что они приговорены к десяти годам без права переписки. Еще через полгода пришел конверт, надписанный чужим почерком, и записка, что письмо нашли

на рельсах железной дороги около деревни Погост под станцией Тайга. А в самом письме был написан адрес деда, и замученными буквами выведены слова: «Прощайте. Мой Иерусалим близок. Един и велик наш Господь. Целую вас, сохраните дитя. Яша».

И ледовитая серая вода безвременья сомкнулась над ними.

А посреди комнаты на табурете сидит тетя Рахиль и весело безмолвно смеется – на всех фотографиях она смеется, не улыбается, не усмехается, а от всей души хохочет. Смеясь, она писала стихи, смеясь, поступила в театр, смеясь, познакомилась со своим Иваном Васильевичем Спиридоновым, смеясь, шутки ради вышла за него замуж, смеясь, всем отвечала: «То, что вы говорите, я уже когда-то от кого-то где-то слышала, а то, что говорит он, я не слышала никогда». Знаменитый летчик, высокий, молчаливый, красивый, очень спокойный, он улетал на Чукотку, на КВЖД, в Испанию, на Халхин-Гол и возвращался неизменно спокойный, молчаливый, застенчивый – с новыми шпалами, ромбами, орденами и звездами. А Рахиль смеялась и терпеливо ждала и смеялась, когда он прилетал. Она носила огромную широкополую шляпу, горжет из чернобурок, бриллиантовые кольца и серьги, она была первой в Москве женщиной, которая научилась водить автомобиль и ездила за рулем «эмки», подаренной Спиридонову правительством. Она ходила на приемы в Кремль. И там, наверное, тоже смеялась, показывая свои жемчужные зубы.

Но у Спиридонова отобрали «эмку», ромбы, ордена, небо, набили грудь свинцом и засыпали красной тяжелой глиной в одной яме вместе с другими семнадцатью авиационными генералами, которые теперь – голые, синие, скрюченные, изуродованные – были мало похожи на сталинских соколов, и каждый бы поверил, что они враги народа.

Не знаю, смеялась ли Рахиль, когда ее допрашивал заместитель наркома госбезопасности Фряновский – басистый наглый кобель с двуспальной кроватью при кабинете, но «нет» она говорила твердо. Эти кавалеры – крутые ребята, и она пришла в лагерь уже с выбитыми зубами.

Двадцать лет назад тетю Перл разыскала подруга Рахили по лагерю и рассказала, что в 1946 году их вели колонной по Дубне, где уже работали над созданием нашей мирной атомной бомбы. Рахиль выбежала из строя за брошенной прохожими краюхой хлеба, и ее тут же срезал автоматной очередью конвойный-киргиз.

Конвоир не знал мудрости деда и не ведал слов Екклезиаста: «Есть время разбрасывать камни, и есть время собирать камни». Конвоир не думал о том, что брат Рахиль – Нухэм разорил его дом и убил его отца-басмача, перед тем как другой басмач – брат конвойного-киргиза – застрелил Нухэма.

Киргиз был простым мирянином новой религии и аккуратно исполнял ее первый завет: «Руки за спину, шаг влево, шаг вправо считается за побег, конвой стреляет без предупреждения».

Конвой стреляет без предупреждения. Стреляет, стреляет, стреляет.

Старая эчка, подруга Рахили, со слезами вспоминала ее – какая была добрая, веселая, отчаянная евреечка. Голодно, плохо, а она всегда смеялась. Все зубы выколотили, а она им назло смеялась!

Мне часто снится смеющаяся беззубым ртом Рахиль.

Дядя Меер, белокурый гигант, судья и мудрец среди одесских биндюжников, неспешно мнет толстыми пальцами сыромятный кнут. Его мир был пирамидой спокойной необдумываемой любви, на вершине которой находились три дочери – такие же крупные, рыжеватые и доброжелательные, как его лошади Зорька и Песя. После лошадей место в его сердце принадлежало покорной тихой жене Мирре, затем шли его друзья – бывший налетчик Исаак Ларик, мясник Мойша Зеленер, биндюжник Шая Гецес и дантист Тартаковер. Как атланты, держали они на себе его мир, в котором было полно веселья, драк, грубой ругани, несокрушимого товарищества, добрых шкаликов под кусок скумбрии с помидорами, имелись место в синагоге и единственная постоянная надежда – смысл и цель жизни – хорошо выдать замуж девочек. С

добрым приданым, с шумной свадьбой на всю Мясоедовскую, с почтенными мехетунэм (родители жениха).

Но на верных своих лошадках отвез Меер дочерей не к венцу, а к последнему поезду, уходящему в тыл. Посадил в вагон, оторвал полсердца и отправился на призывной пункт. И пирамида, которую он возводил целую жизнь, положив в фундамент весь добрый мир людей, рассыпалась на глазах. Под Житомиром прорвавшиеся немецкие танки в упор расстреляли поезд и всех пассажиров сожгли, перебили, изорвали гусеницами. Не вернулся из разведки Исаак Ларик. Убило бомбой Мойшу Зеленера. Повесили на Привозе Шаю Гецеса. Сгорел в крематории, пролетел черным дымом над польскими полями дантист Тартаковер. И билась на земле в пене, хрипя и дергая ногами, лошадь Зорька, пока Меер с татаринцом Шамсутдиновым стреляли из последней уцелевшей пушки по приближающимся черным крестам. И тогда Господь дал ему наконец отдохновение от непосильной ноши из обломков разрушенной пирамиды – упал, обхватив землю огромными руками, последним усилием пытаясь удержать расколовшийся шар, и стало легко, и дед шептал в изголовье: «Участь сынов человеческих и участь животных – одна участь: как те умирают, так умирают и эти, и одно дыхание у всех, и нет у человека преимущества перед скотом...»

Тень дяди Мордухая быстро ходит по комнате – он никогда не мог спокойно сидеть на месте, он всегда куда-то торопился – на субботник, на партсобрание, на маевку. Он был общественник, рабкор, ворошиловский стрелок, ударник Осоавиахима, член МОПРа, профсоюзный активист и стражделегат. Дядя Мордухай любил песню «Еврейская комсомольская» и стыдился политической отсталости деда. Он объяснял деду, что только социализм смог наконец решить еврейский вопрос и теперь задача евреев, сохраняя свой язык для семейного общения и нерелекционные традиции для истории, полностью раствориться в великой пролетарской культуре русского народа. Он носил бархатную толстовку и ругался неуверенным матерком. На праздники дядя Мордухай запевал – и остальных настоятельно просил подпевать – заздравную песню «Лейбн зол дер ховер Сталин, ай-яй-яй!» – «Пусть живет товарищ Сталин, ай-яй-яй!».

Он уехал в Биробиджан строить еврейскую государственность, редактировал там газету, писал боевые письма о том, что только глупцы и слепые не видят, как здесь, в вольной семье нанайского и удэгейского народов, евреи обрели наконец свою историческую родину.

В дяде Мордухае социализм потерял верного, надежного строителя, когда в 1952 году у выдумщиков очередного антисоветского заговора не хватило для пасьянса шестерки – какого-нибудь шумного еврея. И ангел смерти Саммаэль уронил со своего меча огненную каплю на общественника-выкреста Мордухая Гинзбурга. За восемь дней заговор был раскрыт, обезврежен, расследован и покаран.

В прошлом году меня разыскал его сын Иосиф – усталый медленный человек с сизыми стальными зубами. Он хотел познакомиться, повидаться, попрощаться. И уехал в Израиль. В аэропорту мы стояли, обнявшись с этим незнакомым человеком, и тихо плакали. Его слезы были на моем лице, и он сдавленно говорил: «...Суламита, девочка моя, поехали отсюда, я – слесарь, у меня золотые руки, для тебя всегда будет кусок хлеба...»

И безликими тенями суетились и печалились среди своих маленьких детей тетя Бася и тетя Дебора – я никогда не видела их лиц, не сохранилось даже фотографий. Адское пламя испепелило их следы на земле. В моем пантеоне нет их лиц – только имена – тетя Бася и ее муж дядя Зяма, их дети Моня, Люся и Миша. Тетя Дебора с дядей Илюшей и сыновьями Левой и Гришей. Все безмолвно сошли в Бабий Яр, фашисты лишили их души, плоти и имени, и изгладилась память о них. Искру памяти мне передала тетя Перл, на мне кончаются все те пути.

«...Напрасно пришли вы и отошли во тьму, и ваше имя покрыто мраком...»

А ты, юная веточка дедовского дерева, молодой веселый инженер Арончик? Ты говорил, что нет Бога, а есть материя. Нет духа, а есть энергия. Нужна не новая религия, а новая тех-

нология. Мир устроит не Мессия, а технический прогресс. Людям нужны не пророки, а инженеры.

Ты оказался прав. Инженеры сделали техническое чудо – «мессершмит». Дали ему энергию бензина, полученного по новой технологии из каменного угля. Он взлетел легко, как дух, и под Прейсиш-Эйлау испарил твою материю. И ты вернулся к своему Богу, ибо он начало и конец вечности. А деда уже не было, чтобы благословить тебя напутственно: «Все идет в одно место: все произошло из праха и все возвратится в прах...»

Адонаи Элогим, великий Господин мой! Как я устала! Я истратила все силы, чтобы собрать вас и оживить. Зачем? Не знаю...

Мы пришельцы из другого мира. Верю в тебя, Господи, пославший нас из тьмы в эту жизнь. Мы не умираем, пока хоть одна ниточка вечной пряжи хранит в себе память об ушедших. Мы вечны, пока храним огонь завета. И я не могу умереть, не передав нить памяти идущим за нами...

Все исчезли, отлетели от меня. Только лицо отца и мамы ясно светили передо мной. Но и они стали меркнуть, расплываться, рассеиваться.

– Подождите! – попросила я. – Мне надо спросить вас...

Покачал головой отец:

– Я знаю, о чем ты хочешь спросить... Но нас нет... Давно... Мертвые ничему не могут научить живых... Прощай, Суламита... Реши сама...

И мама шепнула:

– Как трава, увядаем мы в мире сем...

И дед пошевелил губами:

– «Род приходит, и род проходит, а земля пребывает во веки». Аминь...

В смятении и бессилии я заплакала. И сошла большая тишина.

5. Алешка. Игры

Антон расстроено смотрел по телевизору вчерашний футбольный матч. Увидев нас, с досадой показал на экран:

– Вот времечко-то пришло! Никто ничего не хочет! Инженеры не думают ни хрена, рабочие не работают, футболисты бегать не желают...

Со злостью нажал выключатель и пошел к нам навстречу:

– Здорово, братушка! Как хорошо, что ты здесь, малыш...

– Здорово, Антошка, – обнял я его. – А что толку с меня?

– Не скажи, – качнул своей лобастой огромной башкой Антон. – В делах-делишках ты, конечно, человек бестолковый. Но я люблю, когда ты рядом. Мне – увереннее...

Мы сели за боковой стол – красного дерева аэродром, затянутый зеленым сукном. Антон нажал кнопку, мгновенно в дверях выросла секретарша Зинка. Я уверен, что Антошка с ней живет – он вообще любит таких икряных задастых баб с толстыми ногами и чуть уловимым горьковатым запахом пота...

– Гони кофе и коньяк. Тот, что мне армяшки привезли... – А нам скомандовал: – Докладывайте, бойцы, хвалитесь успехами... Эх, мать твою за ногу, не было печали...

Так и сидели мы в конце необъятного стола, грустные, озабоченные, а на другом конце незримо витала тень Петра Семеныча с белесой дочерью, и никогда я еще не видел Антона таким озабоченным и неуверенным – может быть, потому, что он привык за этим столом обсуждать проблемы капитального ремонта ЧУЖИХ домов, а сейчас нам надо было сохранить от разрушения СОБСТВЕННЫЙ дом Антона.

Красный сидел олеворучь Антона, молча и внимательно смотрел ему в лицо. А раз он молчал, несмотря на команду докладывать, значит считал, что это правильнее сделать мне. И весь Лева – маленький, смугло-желтый, крючконосый – рядом с громадным Антоном был похож на ловчего ястреба, севшего на плечо к хозяину и в любой миг готового сорваться в атаку.

– Ее отец требует три с половиной штуки. И однокомнатную квартиру в кооперативе, – сообщил я.

– Ничего, побаловал сыночек, – тяжело помотал Антон головой.

– Надо будет объяснить Диме, что ты оплатил ему наперед батальон проституток, – пожал я плечами.

– А на роту вы не могли сговориться? – недовольно поинтересовался Антон у Красного, и Лев злобно поджал сухие синие губы.

– Не напирай, Антошка, – вмешался я. – Мы бы с тобой от этой сволочи дивизией не отбились.

– Да ты не обижайся, Лева, – надел бархатный колпачок на своего ловчего Антон. – Ты ведь знаешь – откуда мне такие деньжища взять?..

Вошла Зинка с подносом, на котором были тесно составлены рюмки, чашки, кофейник и бутылка золотого «Двина». Она все это расставляла по столу, и салфетки поправляла, и несущую пыль сметала, и к двери отходила, и вновь возвращалась – за бумагами, вроде бы забытыми, и коль скоро Антон не приглашал остаться, то хотелось ей хоть краешком уха уцепить, о чем здесь беседа идет. Но мы все молчали, пока она крутилась в кабинете и когда по первой стопе врезали, и лимончиком закушали, и кофе отхлебнули. А я подумал о том, что полжизни уже прожил, но никогда еще не покупал себе коньяк «Двин». И Антон не покупал. Ему армяшки привозят.

Я думаю, у нас никто легально не зарабатывает таких денег, чтобы покупать «Двин». Его выпускают специально для жуликов, которые привозят подарки начальству. Никого больше не интересуют борзые щенки – все мечтают о выпивке и закуске.

Антон, будто почувствовал, о чем я размышляю, и сказал Красному с досадой:

– Лева, ну где же мне взять три с половиной тысячи? Я ведь взятку не беру!..

– Надо думать, – осторожно сказал Красный.

– Думай, Лева, думай, ты у нас самый умный. Если не придумаешь, нам сроду не придумать. – Антон повернулся ко мне и сказал: – Ты знаешь, Алешка, я только недавно сообразил, почему начальникам платят такую маленькую зарплату...

– Ну скажем прямо, не такую уж маленькую, – усмехнулся я. – Пятьсот рублей, плюс спецкотлеты, плюс казенная дача, плюс казенная квартира, плюс казенная машина с двумя шоферами, плюс путевки, плюс бесконечность богатств нашей родины...

Антон не разозлился, а терпеливо сказал:

– Малыш, я не о том. Мне представляют бесплатные блага, которые в Америке может себе позволить только миллионер. А денег – как паршивому безработному негру. Смекаешь почему?

Я незаметно показал ему глазами на Левку – не стоило при нем все это обсуждать. Но Антон махнул рукой:

– Перестань! Левка – свой человек. Без него я бы не допер до всего этого.

Я пожал плечами:

– Так чем же ты недоволен, начальствующий диссидент?

– Зарплатой. Ты понимаешь, ИМ не жалко платить мне и три тысячи в месяц. Но не хотят. Нарочно не хотят...

– Почему?

– Чтобы не забаловал. Все мои блага – пока я сижу в этом кресле. А на сберкнижке у меня ноль целых хрен десятых. И если меня вышибают, я сразу становлюсь полным ничтожеством. За моей спиной всегда маячит бездна нищеты. И это гарантия: нет в мире мерзости, которой я бы не совершил, чтобы удержаться на своем месте...

– Перестань, Антошка, не надо, – попросил я, мне было невыносимо больно слушать его горестно-сиплый шепот, боковым зрением видеть алчно-стеклянный ястребиный глаз Левки, пронзительно желтый за толстыми стеклами очков.

Антон налил до краев большую рюмку коньяком и разом проглотил ее. Хлопнул ладонью по сверкающей полированной закраине столешины:

– Все! Поговорили, хватит. Какие есть идеи, Лева?

– Первое. Продать ваш «жигуль»...

– Не годится, – отрезал Антон. – Мне сейчас на «жигуль» наплевать, но за один день его не продашь...

– Если договориться, деньги могут выдать вперед.

– Я не могу сейчас продавать машину, которую я купил три месяца назад из спецфонда. Понятно? Меня не поймут... Там... – И он показал большим пальцем куда-то вверх.

– Второе, – кивнул Левка, сняв с обсуждения первый вопрос. – Занять на какое-то время деньги у Всеволода Захаровича. Он только что из-за границы, у него наверняка есть деньги...

Мы с Антоном переглянулись и, несмотря на серьезность момента, захохотали. Только сумасшедший или незнакомый мог рассчитывать перехватить денег у нашего брата Севки. Мамина кровь.

– Не глупи, Лева, – замотал головой Антон. – Наш братан – скупец первой гильдии. Он, кабы мог, деда родного похоронил у себя на даче, чтобы сэкономить на удобрениях. И вообще, его ни в коем случае трогать не надо, у него на беду нюх собачий. Сразу же пристанет – зачем? почему? что случилось? Ну его к черту...

Антон встал из-за стола, прошелся по огромному кабинету, остановился у окна, тоскливо глядя на улицу.

– Господи, где же денег взять? Из-за такого дерьма вся жизнь рушится. – Он взглянул на меня и сказал горько: – Вот тебе и Птенец...

И я вспомнил, что Антон и его идиотка-жена всегда называли Димку Птенцом. Не знаю, откуда взялось это непотребное прозвище, но они называли его только так – наш Птенец. Птенец уже не писается, Птенец обозвал бабушку дурой, Птенца вышибают из школы, Птенца устроили в Институт международных отношений.

– В чем же дело? Мы ведь росли как трава! А я Птенца тяну с третьего класса. Постоянно репетиторы, то отстал по русскому, то схлопотал пару по алгебре, то завалил английский. Потом – институт! Хвост за хвостом. И все время – подарки учителям, подношения экзаменаторам, услуги деканам. Этому – ондатровую шапку, этому – ограду на кладбище, этому – путевку в санаторий, этого – устроить в закрытую больницу, этого – вставить в кооператив, этому – поменять квартиру. И вот перешел Птенец наконец на четвертый курс, я уж решил, что все – конец моим страстям, вышел человек на большую дорогу, вся жизнь впереди... А он мне вот что подсуропил...

Я смотрел на Антошку и думал о том, что ни один человек в беде себе не советчик, и в делах своих не судья, и самый умный человек не слышит, что он несет в минуту боли и потерянности чувств. Птенец с большой дороги и белесая дочь.

В дверь засунула голову Зинка:

– Антон Захарович, к вам с утра рвется Гниломедов. Что?

– Пусть зайдет...

Гниломедов вплыл в кабинет – не быстро и не медленно, не суетливо и не важно, а плавно и бесшумно, и огибал стол он легким наклоном гибкого корпуса, и ногами не переступал по ковру, а легко взмахивал хвостовыми плавниками на толстой платформе, и кримпленовый костюм на нем струился невесомо, как кожа мурены, и можно было не сомневаться, что нет в нем ни одной косточки, а только гладкие осклизлые хрящи, сочлененные в жирно смазанные суставы.

И на изморщенной серой коже – дрессированная улыбка из дюжины пластмассовых зубов. Он наверняка дрессировал по вечерам свою улыбку, мял и мучил, он занашивал ее на харе, как актер обминает на себе театральное платье.

– Хочешь коньяку? – спросил Антон.

– Я бы с удовольствием, – выдавил из пасти еще пять зубов Гниломедов. – Но мне же к трем часам в партконтроль...

– Ах да! Эта напасть еще... – сморщился Антон. – Ты, Григорий Васильич, подготовил покаянное письмо?

– Конечно, – раскрыл папку Гниломедов. – При проверке факты подтвердились в целом, проведено совещание с руководителями подразделений, начальник СМУ-69 Аранович освобожден от занимаемой должности, начальнику управления механизации Киселеву строго указано...

– Подожди, Григорий Васильич, а что с бульдозерами?

– Тут написано. – Гниломедов взмахнул бумагой. – Как вы сказали, Антон Захарыч, бульдозеры сданы на базу вторчермета как металлолом...

Я ждал, что тут Гниломедов от усердия взмахнет хвостом, стремительно и плавно всплывет под потолок, сделает округлый переворот и вверх брюхом, как атакующая акула, поднырнет к столу. Но он, наверное, не успел, потому что Антон спросил мрачно:

– А Петрович все проверил?

– Безусловно – копии накладных предъявлены в УБХСС...

Как первоприсутствующий в своем заведении, Антон говорил всем подчиненным «ты», но это бесцеремонное «ты» имело много кондиций. Первому заместителю Гниломедову он говорил «ты, Григорий Васильич». Второму заму Костыреву – «ты, Петрович». Своему помощнику Красному – «ты, Лева». Начальникам поменьше – «ты, Федоркин». А всех остальных – просто «ты», ибо дальше они утрачивали индивидуальность и растворялись в святом великом понятии «народ».

Красный повернул к Гниломедову свою острую рожу:

– Григорий Васильич, вы в партконтроле напирайте на то, что УБХСС к нам претензий не имеет...

– А почему вы думаете, Лев Давыдыч, что обэхаэсэсники не будут иметь к нам претензий? – сладко улыбнулся ему Гниломедов, мягко вильнул верхними плавниками.

– Я вчера говорил с начальником хозуправления МВД Колесниковым – они нас просили включить в план капитальный ремонт трех зданий.

– И что? – заинтересовался Антон.

– Ну, я ему ласково намекнул – включить могли бы в этом году, да его же коллеги не дают работать, нервируют коллектив. Если он с ними договорится – мы сразу же займемся их домами...

– Молодец, Левка, – кивнул Антон.

– Толково, Лев Давыдыч, толково, – одобрил Гниломедов – жох, пробы негде ставить...

– А он обещал? – переспросил Антон.

– Сказал, что позвонит, – обронил Красный и с усмешкой добавил: – Ему же надо набить цену своей услуге...

– Может, зря бульдозеры на лом сдали? – пожалковал на пропавшее добро Антон.

– Да ну их к черту! – впервые без улыбки, от всей души, очень искренне сказал Гниломедов. – Из-за этой сволочи Арановича такие неприятности! Их брат всегда хочет быть умнее всех...

Гниломедов запнулся, увидев устремленный на него взгляд Левы, желтый, как сера, но ненависть к шустрому Арановичу почти мгновенно победила хранящую его сдержанность, и он со злобой закончил:

– Вы уж простите, Лев Давыдыч, но у вашего брата есть эта неприятная черта – соваться всюду, куда не просят... – Помолчал и добавил, сипя от ярости: – Вырастаете, где вас не сеяли...

Он уже не переливался, не струился и не плавал гибко по кабинету, а походил на корявый анчар – он весь сочился ядом. В охватившем душевном порыве напрочь забыл свою дрессированную улыбку, и пластмассовые зубы его клацали, как затвор, выпуская в нас клубы звуковых волн, отравленных смрадом ненависти. Наверное, они должны вызывать гнойные нарывы, зловонные язвы.

И не потому, что я люблю евреев или мне хоть на копейку симпатичен Красный, а потому, что мне противен Гниломедов, который – я не сомневаюсь – будущий Антошкин погубитель, я сказал с невинным лицом:

– А я и не знал, Лев Давыдыч, что Аранович ваш брат...

Красный зло ухмыльнулся, Гниломедов смешался, Антон махнул рукой:

– Да нет – ты что, выражения такого не слышал? – Повернулся круто к Гниломедову: – Хватит ерунду молоть. Давай я подпишу письмо, и езжай...

Он нацепил очки, еще раз пробежал письмо глазами и широко подмахнул, сердито бормоча под нос:

– Хозяева!.. Хозяйственнички!.. Бизнесмены хреновы, матери вашей в горло кол!.. Рассточители!.. Подлюки!..

Выплыл, чешуисто струясь, из кабинета Гниломедов, на прощание тепло поручался со мной, и дал-то я ему только два пальца, а он не оскорбился и не разозлился, не заорал на меня и не плюнул в рожу, а душевно помял мне обеими руками два пальчика – не сильно, но очень сердечно, по-товарищески крепко, выдрал из хари своей мятой улыбочку, будто заевшую застежку «молнии» раздернул, шепнул напутственно: «Хорошо пишете, Алексей Захарыч, крепко! С удовольствием читаю! И жена очень одобряет!..»

Сгинул, паскуда. Понюхал я пальцы свои с остервенением – точно! – воняют рыбьей слизью. И налет болотной зелени заметен. Теперь цыпки пойдут...

– Арановича жалко, – тяжело сказал Антон. – Толковый человек был...

– А он что, воровал? – поинтересовался я.

– Кабы воровал! – накатила желваки на скулы Антон. – Горя бы не знали. Он, видишь ли, за дело болеет! Все не болеют, а он болеет! Вот и достукался, мудрило грешное!

– Так что он сделал?

– Из металлолома два бульдозера восстановил, – хмыкнул Красный.

– И что?

– Нельзя.

– Почему? – удивился я.

– Ах, Лешка, мил друг, не понять тебе этого, – вздохнул Антон. – Тут час надо объяснять этот идиотизм...

И Красный молчал. Я посмотрел на него – у Левки было лицо человека, озаренного только что пришедшей догадкой, какой-то необычайно ловкой и хитрой мыслью.

– Есть идея, – сказал он равнодушным голосом.

– Насчет Арановича? – все еще отстраненно спросил Антон.

– Какого черта! Насчет денег!

– Да? – оживился Антон.

Господи, какие пустяки определяют человеческие судьбы! Не мучай меня с утра похмелье, не пей я по дороге водки, а здесь коньяк и кофе, я бы выслушал Левкино предложение, и, может быть, ничего бы впоследствии не произошло. Или многое не произошло бы.

Но у меня распирало мочевого пузырь, я вскочил с места и, крикнув Левке: «Погоди минуточку, я сейчас!», выскочил в туалет, за комнатой отдыха при кабинете.

Сколько нужно мужику, чтобы расстегнуть штаны, помочиться, застегнуть снова молнию и вернуться на свой стул? Минута? Две? Три?

Но когда я вернулся – понял, что они успели здесь перемолвиться без меня.

Они сидели с подсохшими отчужденными лицами, будто незнакомые, и в глазах их была недоброжелательность, и я сразу почувствовал, что их уже связал какой-то секрет или тайна, а может быть, сговор, в котором мне места не было.

– Что? – спросил я.

– Да ерунда, Лева тут предложил поговорить с одним человеком, но мне это кажется несерьезным, – как-то суетливо, скороговоркой зачастил Антон, и я понял, что он мне врет, Красный – НАШЕЛ ВАРИАНТ.

Мне бы подступить с ножом к горлу, а я, дурак, обиделся. Не хотят – как хотят. Это в конечном счете их личное дело. Мне наплевать. С какой стати?

И Антон, который хорошо знал меня и оттого точно меня чувствовал, тоже понял, что я знаю – он врет. И сказал, глядя в сторону:

– Лева тут попробует еще один вариант... Не наверняка, но попытаться можно... Как любил пошутить Лаврентий Павлович Берия: попытка – не пытка...

И засмеялся смущенно, на меня не глядя.

Я встал и, стараясь скрыть охватившую меня неловкость, тоже засмеялся:

– Пусть, конечно, попробует. Он ведь из нас самый умный...

6. Ула. Встречи. Проводы

«Внимание! На старт! – дико заголосила стена. – Внимание! На старт!..»
Я приподняла голову с подушки.
«Внимание! На старт! Нас дорожка зовет беговая!»
Гипсолитовая стенка вогнулась ко мне в комнату.
«Передаем концерт спортивных песен и маршей!»
«...Нас дорожка зовет беговая!»
«...Если хочешь быть здоров – закаляйся!..»
Трясся портрет на стене, дед испуганно жмурил глаза.
«Чтобы тело и душа были молоды!..»
В соседней квартире живет пенсионер-паралитик. Он любит радио.
«...Были молоды! Были молоды!»
Он хочет, чтобы тело и душа были молоды.

Ты не бойся ни жары и ни холода!..
...Закаляйся, как сталь!

Я не боюсь ни жары, ни холода. Я боюсь радио.

Если хочешь быть здоров – закаляйся,
Позабудь про докторов, водой холодной
обливайся!

Дребезжит стена, напряженная, как мембрана.

Удар короткий – и мяч в воротах!
Кричат болельщики, свисток дает судья!

Сыплется побелка, стонет паркет. Стена хрипит и воет, паралитик крутит приемник, как пращу.

В хоккей играют настоящие мужчины.
Трус не играет в хоккей!

Трус не играет. Трус не слушает радио. Трус жить не может.

...Все выше и выше, и выше!
Голы, очки, секунды!
Спорт! Спорт! Спорт!

Физкультурный парад. Спортлото. Звездный заплыв черноморских моряков. Спартакиада. Гимнастическая пирамида. Олимпиада. Самый сильный человек планеты Василий Алексеев поднял шестьсот килограммов. Советский народ – на сдачу нового норматива комплекса ГТО! Товарищ Сталин – лучший друг физкультурников! Хочешь в космос – занимайся спортом!

Эй, вратарь, готовься к бою!

Часовым ты поставлен у ворот!

Радиоволны размозжили, в клочья разорвали паралитика, липкими струйками, густыми потоками разметало его по стенам занимаемой им жилплощади.

...Чтобы тело и душа были молоды!
Были молоды!.. Были молоды!..

Физкультура и радио – плоть и дух. Люди без цели, без воли, без памяти занимаются физкультурой и слушают радио.

Только в ванной под сильной струей душа не слышно радио, и я счастлива: паралитик не знает, что я наплевала на предписание закаляться, как сталь, – я не обливаюсь водой холодной, поскольку тело мое и так молодо, а душа моя все равно незапамятно стара, ей несколько тысяч лет.

Из-за соседа я никогда не завтракаю дома – вдруг он проломит своей радиостенобитной машиной перегородку и ввалится ко мне в комнату? Мычащий, слюнявый, не боящийся ни жары и ни холода, закаленный, как сталь. Мне его безумно жалко, но и себя тоже – я его очень боюсь...

Лечу по лестнице, лифта ждать глупо. Жую по дороге яблоко; у него кислый, свежий, радостный вкус. Во дворе, в песочнице, плавают пузатенькие, задумчивые, как рыбки гуппи, малыши. Мимо дома, мимо сквера, через школьный двор. В пустых гулких классах перекачиваются голоса маляров. Из окна выкинули большую карту мира, и повисли на мгновение высоко надо мной два цветных полушария – переливающееся пенсне вселенной. Раскачиваясь, медленно планируя, опускались они на землю, как солнечные очки мира. Синие очки слепого творца.

Сегодня я еду на час позже, чем обычно. Просторно в стеклянном дребезжащем сундуке троллейбуса. Я еду не на работу. Сегодня я сердечно приветствую. Я еще не знаю, кого я буду сердечно приветствовать: мне велено явиться в десять часов к столбу номер 273 на Ленинском проспекте, и там мне скажут, какого дорогого гостя столицы мы будем сегодня сердечно приветствовать.

В нашем гостеприимном городе самые сердечные люди работают в Октябрьском районе. Здесь проходит трасса следования гостей из Внуковского аэропорта, и не реже раза в неделю нас выводят сердечно приветствовать очередного нашего друга.

У метро я встретила Шурика Эйнгольца. Он медленно шел по тротуару, останавливался, с любопытством озирался на толпы бегущих мимо него людей. В безобразных мешковатых штанах, тяжелых зимних ботинках. На животе мучительно разъезжалась вязкая кофточка-тенниска. Нет, он не франт, в этом его никак не упрекнешь. Эйнголец смотрел на гостеприимных земляков, закидывая голову немного назад, и осторожно продвигался вперед, выдвигая каждый раз ногу с опаской, будто боялся провалиться в канализационный люк. Он был похож – в своих толстых бифокальных очках – на слепого. Кудрявые рыжеватые пряди над ушами, и нос, выраставший не из переносицы, а прямо из темени. Короткий толстый хобот, он шевелил им. Он принюхивался к смраду распаренной жарой и скукой толпы, он обонял тление: страх, равнодушие и общую усталость, которую называл формой неосознанной тоски.

– Шурик! – крикнула я ему. – Шурик, я здесь!

Эйнголец повернул ко мне линзы, приветливо поднял хобот.

– Я боялась перепутать метро – мы договорились встретиться у «Калужской», а она теперь называется «Октябрьская». А где теперь «Калужская»?

– В самом конце радиуса.

– Шурик, зачем это делают? – спросила я. – Это же им самим должно быть неудобно!

– Им, Ула, деточка моя, это удобно. Переименователи не ходят пешком и не ездят в метро, им безразличны переименованные города...

Мы шли по Ленинскому проспекту, мимо гостиницы «Варшава», мимо Института стали, а вокруг сновали обеспокоенные люди – это трудящиеся искали каждый свой столб, у которого им надлежит приветствовать, они находили и снова теряли в толпе сотрудников, бешено подпрыгивали на глазах уполномоченных, чтобы их видели в ликующей толпе гостеприимно встречающих, чтобы не подумали, будто они смылись и не выполнили своего важного общественного долга.

Проезжую часть уже очистили от транспорта, и пустая улица выглядела непривычно: пугающе, настороженно.

Плечистые ребята – при галстуках и пиджаках, несмотря на духоту, – стали сбивать народ в ровные шеренги вдоль бровки тротуаров. С серыми цинковыми лицами эти ребята выслушивали доклады старших трудящихся, давали им короткие указания, толкали людей, быстро разгребали ухватистыми лапами сгущения и передвигали своих сограждан, как вещи, в возникающие щели, наверное, по своим засекреченным представлениям об эстетике советского гостеприимного ликования. И все это – с неподвижными физиономиями, с белыми пустыми глазами, тяжелыми желваками на скулах. Они читали в наших душах, они знали, что мы недостаточно искренне приветствуем, они видели, что мы больше хотели бы сбежать – в магазины, химчистки, на почту. И молча предупреждали нас: вы еще об этом пожалеете!

Уполномоченные представителей трудящихся озирались, как наседки, пересчитывая своих подопечных, сверяясь по спискам – все ли на месте, все ли машут флажками, все ли выражают на лицах безграничную радость по поводу приезда хоть и неизвестного пока, но все равно дорогого гостя.

По пустынной улице проехала милицейская машина – желто-синяя, с пульсирующими на крыше красными сполохами тревожных фонарей, с медленно вращающимися серебряными рупорами. Из рупоров доносилось покашливание надзирателя – «кх-ках-кхе», «кх-ках-кхе». Он прочищал глотку спокойно и естественно, не обращая на нас внимания, не стесняясь нас, как он не стеснялся окружающих стен, камней, деревьев.

– В этом есть что-то похожее на приготовления к казни... – сказал Эйнгольц.

Плотный, коренастый, тяжелый, с коротким толстым носом-хоботом, Эйнгольц был похож на тапира – маленького несостоявшегося слона. Красноватые глазки за бифокальными линзами печально смотрели на пустую дорогу.

Он положил мне на плечо руку – белая беззащитная кожа рыжего, измаранная сгустками веснушек, истыканная редкими щетинками белых волос.

– Кого казнить будут, Шурик?

– Наше достоинство.

Из магазина «Варна» порскнула толпа баб. Они бежали, держа в руках банки баклажанов «баялда». Хорошая штука, взять бы, но мы и так опаздываем.

Мне было жалко Шурика, потерявшегося здесь тапира, мудрого, сильного, застрявшего навсегда экспедиционера – красавца из другого мира. Он попал не в тот отряд генетического десанта.

– Шурик, тебе было бы хорошо стать профессором в маленьком университетском городке. Где-нибудь на Среднем Западе...

Он покачал головой:

– И что я бы им преподавал?

– По-моему, ты знаешь все. Рассказывал бы им о нас.

Эйнгольц сделал по крайней мере еще десять своих неровных ощупывающих шагов, наклонился ко мне и тихо сказал:

– Ула, я начинаю думать, что мы никому не нужны. Мир не хочет о нас знать, он нами не интересуется, он забыл о нас...

– А история? Этнографы? Археологи?

– Нет, их время еще не пришло. Мы – кошмарная Атлантида, дикая и кровавая, над нами океан лжи, насилия и забвения.

Какие-то фабричные девочки, крикливо одетые, в яркой косметике, пили из бутылки портвейн, пронзительно смеялись, а одна, посмотрев на Эйнгольца, громко запела:

Хорошо, что наш Гагарин
Не еврей и не татарин,
Не калмык и не узбек,
А советский человек!

Девчонка была красивая, рослая, с круглыми глупыми голубыми глазами. Эйнголец смотрел на нее с доброй улыбкой, почти ласково. Может быть, она будила в нем какие-то воспоминания? Мне казалось, что ему хочется погладить ее по голове. Там, в его мире, она, наверное, была кошкой. Или стройной длинношерстной колли.

И тут откуда-то издалека, с самого конца проспекта, донеслось завывание, вначале негромкое, вялое, будто плач большого кота, но с каждым мгновением оно становилось пронзительнее и гуще, оно приобрело яркий желтый цвет и уродливую форму падающего с неба зверя, вой был плотным, как замазка, и невыносимо скребущим, словно стеклянная вата за шиворотом.

Это мчался перед кортежем милицейский «мерседес». Сирена выла ритмично, она опускала животный крик боли до низкого ужасного рева и взмывала вверх яростно-синим свистом отчаяния и страха перед надвигающейся волной страдания. Казалось, что сидящие в «мерседесе» рвут руками его внутренности, и он вопит, рыдает и молит стоящих на тротуарах людей забыть о достоинстве. Сирена – электромеханический приборчик, симулянт и шантажист – своим ненастоящим страданием показывала людям, что можно сделать с ними, если так способны кричать металл и пластмасса.

Хлынул наконец черной рекой правительственный проезд. Огромные мрачные машины, стальные ящики на толстых колесах, лавиной мчались по проспекту. Взлетели вверх флажки, все заголосило, в задних рядах заматались, забегали. Визг, прыжки, суета и крики, толчея, отдаленные ноги, вопль восторга – вона, вон-а! на второй машине! усатенький! с погонами!.. Ур-а-а!

Какой-то дорогой гость с числительным титулом – первый заместитель, второй секретарь, третий председатель.

Эти черные страшные автомобили мчались бесконечной оравой, безбрежной, исчезающей за горизонтом, бронированные, тяжелые, непроницаемые, тускло сверкающие на солнце, неслышанный парад торжества силы, демонстрация ее громадности – голова проезда уже исчезла из виду, а конец еще не выехал, наверное, с аэродрома – десятки километров командиров, извергающихся подобно лаве из бездонных недр Тартара. С ревом моторов и глухим гудом шин они неукротимо катили по дороге в светлое будущее, окруженные счастливыми толпами ликующих, размахивающих флажками и транспарантами людей, которых, само собой, держали в должном порядке и на необходимом расстоянии плотные цепи железных парней с золотыми сердцами.

Тетя Перл рассказывала, как во время войны она стояла на Садовом кольце и смотрела вместе со всеми на тысячи пленных немцев, которых гнали по Москве. Они шли много часов, и в разгар дневной жары один из солдат упал в обморок. Сосед тети Перл, старый еврей-коммунист, эмигрант из Австрии, отсидевший там несколько лет в концлагере и перед войной все-

так пробравшийся к нам, подбежал к упавшему немцу и напоил его из бутылки водой. Солдат очнулся и ушел с колонной. А железный паренек увел соседа, и больше его никто не видел.

– Тебе плохо? – Я увидела перед собой ласковый толстый хобот моего тапира.

– Не обращай внимания...

Тапир умен и прекрасен. Но помочь мне он не может.

Мы вошли в вестибюль института. Пыль, обрывки флажков, духота. Огромный плакат – «Уважайте труд уборщиц!». Я всегда с испугом останавливаюсь около этого плаката, ибо мне мнится в нем какой-то тайный, непонятный мне смысл. Что-то ведь это должно значить? Это же ведь не буквально – уважайте труд уборщиц! Почему именно уборщиц? Почему никто не призывает уважать мой труд? Или труд Алешки? Или Эйнгольца? Что-то это все-таки значит? Уважайте труд уборщиц!

Не понимаю. Но уважаю. И люблю.

Послушно люблю начальство и уважаю уборщиц.

Уважайте труд уборщиц!

7. Алешка. Полет

По Тверскому бульвару медленно плыл я в раскаленном вареве этого невыносимого дня. Сладкая дурь коньяка во мне мешалась с горьковатым запахом пыльных тополей, синие дымы бензинового выхлопа оседали на цветах радужным нефтяным конденсатом, серый асфальтовый туман стелился по газонам, собирался в плотные клубы по кустам – как для внезапной атаки.

Из одинокой высоты опьянения я неспешно планировал вниз, на вязкую задымленную мостовую, в этот противный мир. Я ощущал, как вместе с потом истекает из меня топливо моего движения, горячее моего отрешения, радостного уединения, счастливой обособленности от всех. Синими ровными вспышками горит во мне спирт, питая неостановимый двигатель сердца, поддерживая стабильное напряжение на входах компьютера моего мозга – он снова громадный, всесильный, всепомнящий. Он – самообучающийся.

Я – беззаботный летчик, не заглянувший в баки перед вылетом.

Я лечу над пустыней, здесь негде приземлиться, если кончится горячее. Подо мной Сахара, невыносимый зной, говорящие на чужих языках, иссушенные жаждой и лишениями кочевники, заброшенные оазисы закрытых на обед магазинов, заледеневшие колодцы пивных, переделанных в кафе-мороженое.

Три тысячи шагов до бара в Доме литераторов. Далеко, на самом горизонте раскаленного московского полдня, он встает как мираж. Как надежда. Как обещание счастья. Как голубые снега Килиманджаро, вздымающиеся за смертельными песками Сахары.

Если не хватит горячего – наплывет незаметно вялое равнодушие, и всемогущий, бурно пульсирующий компьютер опадет, как проколотый мяч, засохнет и сожмется, превратившись в коричнево-каменный бугорчатый шарик грецкого ореха, и обрушатся тоска и бессилие раннего похмелья, полет перейдет в свистящее падение в черную пропасть беспамятства – сна, засыпанного жгучим, едким песком пустыни...

Но пока еще шумят во мне ветер коньяка и одиночество полета.

Слева под крылом проплыли безобразные серые утесы ТАССа, густо засиженные черными мухами служебных машин. Пять лет я прожил на этом острове – глупый дикий Пятница, наивный чистый людоед, попавший на обучение к корсарам пера, проводящим дни в общественной работе и страстном ожидании дня, когда попутный корабль увезет их с каменистых берегов моральной устойчивости на службу в загнивающую границу, разлагающуюся, к счастью, так неспешно, что ее умирания и безобразных язв хватит еще на много поколений пламенных журналистов.

И пока шевелились эти воспоминания, я пролетел над графитным столбиком памятника Тимирязеву, хлопнул его по макушке и повернул круто направо, в сторону собора Вознесения, на котором было написано: «ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ». Вдоль улицы Герцена выстроились запряженные лошадьми коляски, из бокового притвора, прямо из-под букв «...СТЕРСКАЯ» выходили люди – во фраках, дамы в белых платьях, с длинными шлейфами, с букетиками флердоранжа. Ба! Чуть не опоздал – это же Александр Сергеевич Пушкин с Натальей Николаевной из электромеханической мастерской, где их сейчас повенчала депутат районного совета ткачиха-ударница Мария Гавриловна Погибелева.

Иногда ее фамилия Похмельникова. А иногда Погибелева. Может быть, их две?

Александр Сергеевич, дорогой, привет вам от пустякового писателя с шестнадцатой полосы!

Я – монгольфьер, надутый спиртовыми парами. Прощайте, Александр Сергеевич! Мне надо долететь, кончается горячее, я бешено теряю высоту...

Мелькнуло слева от меня турецкое посольство, и развивающийся над ним флаг окрасил небо вечерней зеленью. На этом ярко-зеленом небе взошел месяц. И проклюнулась звезда. Ах, как быстро я летел вниз! Как пропала высота моего сладкого полета! Как мгновенно кончился вечер над турецким посольством, как быстро зашел за моей спиной месяц, а звезда упала, не взойдя в зенит, – и полет был так стремителен, что я камнем пролетел через рассвет и упал снова в палящее марево раскаленного дня около посольства Кипра. Я чувствовал, что ноги мои задевают за асфальт, я чиркал подметками по мягкому тротуару, я отталкивался, чтобы еще немного пролететь, но туфли вязли в черной каше гудрона.

Я оттолкнулся руками от плотного горячего воздуха, чуть-чуть приподнялся и улетел в вестибюль, сумрачно- темный, мрачно-прохладный, прекрасно-пустой...

В большом деревянном холле тоже было пусто, и, подчеркивая нереальность всего происходящего, горланил в одиночестве телевизор, напудренный диктор передавал последние известия.

– Муся! Два по сто! – закричал я со ступенек буфетчице, и она молча, со своей простой, всепонимающей, доброй улыбкой мгновенно протянула мне две кофейные чашки.

Первую я хлестнул прямо у стойки, и водка рванулась в меня с жадным урчанием, как струя огнемета. Подпрыгнули, метнулись по стенам желтые огни, располосовали тьму исступленной жажды, кровь хлынула в ссохшийся, почти умолкший компьютер – и я обвел прозревшими глазами кафе, задышал сладко и глубоко, будто вынырнул из бездонной ледяной толщи.

Мой родной сумасшедший дом – стены, исписанные самодельными стишатами, разрисованные наивными шаржами, стеклянный трафаретик «Водка в буфете не отпускается», пожелтевшее объявление «Сегодня в ресторане – рыбный день», зыбкие плывучие лица картонных человечков за столиками. Как мне близка тихая истерия этого перевернутого мирка: толстые официантки орут на маленьких писателей, вместо мяса те покорно жуют рыбу, водку тихонько пьют из кофейных чашек, а кофе нет совсем!

Спасибо, Мусенька, спасибо тебе, радость моя, спасибо – ты меня за что-то любишь, почему-то считаешь своим и наливаешь мне незаметно водку под прилавком!

Я уцепился за край углового столика и ногой обвился за стул – чтобы не взмыл под потолок мой монгольфьер, я боялся проткнуть стену олсуфьевского особняка и вылететь в садик канцелярии западногерманского ботшафта. И снова – легкость, бесплотность тела. Жаль только, что беспрерывно сновали окрест коллеги. Говорили, задавали вопросы, рассказывали. Как хорошо было лететь над электромеханической мастерской Вознесения – никто там тебя не мог достать, а Пушкину было не до меня. Свадьба – это ведь такое хлопотное мероприятие!

Седой акселерат Иван Янелло – семидесятилетне-розовый, с голубыми глазами глупого ребенка – рассказывал о непополовозрелых девушках. Рассказывал скучно, для такого специалиста – дважды судили – мог бы придумать поинтересней.

Болотный нетопырь Коля Ушкин – талантливый, пьяный – свидетельствовал: «Это не выдумки, что черти бывают, я сам видел...»

Маленький усатенький Юрик Энтин, значительный, как богатый лилипут, снизошел ко мне, поведал: «Вчера после обеда сел, написал гениальную пьесу. Жаль, не успеют поставить в Комеди Франсез – сейчас в Париже готовят фестиваль моих пьес...»

Секретарь парткома Старушев дергал меня за рукав, просил жалобно, показывая на Римму Усердову: «Ну скажи ей, скажи, какой я писатель!» А она слабо мотала головой: «Не писатель ты и не человек вовсе, ты – моллюск, моллюск с чернильным мешком».

Откуда-то из подпола, с очень большой глубины, выплыл поэт Женя Корин, весь расплющенный давлением, очень худой, тонко вытянутый, с повисшими, как у утопленника, волосами, взмахнул бескостной, как водоросль, рукой, жалобно заморгал красными веками, беззвучно пошевелил губами – на лице засохли донный песок и капли слез.

Незаметно вырос надо мной официант Эдик – нежная душа. Он гомосексуалист и ценитель музыки. Поцеловал меня в темя и поставил на стол три бутылки чешского пива. Энтин заныл: «Эдик, а почему мне не дал чешского пива?»

Но Эдик сразу его осадил – таким не полагается! Вот так!

И не заметил я, упиваясь тонкой горечью моравского хмеля, как возник передо мной Петр Васильевич Торквемада – пастырь душ наших, хранитель всех досье, секретарь союза, бывший генерал МГБ, друг-соратник моего папки. Тусклый блеск очков, худое постное лицо инквизитора.

– Опять нализался, как свинья? – бесшумно, тихо орал он одними губами. – Отца только позоришь, мерзавец!

– Отец не ходит в ЦДЛ – не знает, что я его позорю...

– Сейчас с банкета из дубового зала пойдет все руководство союза – хорошо будешь выглядеть, засранец! – шипел, пиявил меня Торквемада.

– А они сами будут пьяные, не заметят, – вяло отбивался я.

Тут растворились двери, и хлынули с банкета писательские генералы. В глазах зарябило...

А мой постный истязатель поскакал вприпрыжку за начальством.

На стуле рядом уже сидел поэт Соломин – круглые глаза, на затылке маслянисто-гладкие рожки, ма-аленькие, как косточки фиников, в руках крутит хвост, будто ремень на брюках распоясал, сучит под столом сухими копытами, топчет потихоньку, козлоногий.

– Дай, Лешенька, рубль, дай до завтра, дай рубль до завтра, выпить надо – умираю, денег нет, меня вчера в туннеле под Новым Арбатом ограбили, последние сорок семь копеек отняли, а в милицию не могу пожаловаться – паспорт я узбекам продал за бутылку...

– Изydi, противный, серой воняешь! – и бросил ему металлический рубль, а он его не поймал, звякнула монета по полу, сверкнула в темноте, а ее уже подхватил зубами Володя Степанов, зарычал, отгоняя Соломина, и приклеил ее на курточку рядом с краденым орденом «Виртути милитари», а мне крикнул со своего стола:

– Вишь, Алеха, ордена? Мне их дали в Корею, я там американские летающие крепости на «По-2» сбивал...

Врет он все, он не умеет и летать даже, а форму пограничника купил в Военторге по безналичному расчету для самодеятельного театра, реквизит пропили, театр разогнали, самого Степанова вышибла из дому жена, и он теперь живет в зеленой форме пограничника...

Было жарко, шуршал песчаный ветер, и свет меркнул медленно, будто вселенский электромонтер постепенно гасил его яркость реостатом чувств. И шум был вокруг ровным, ничто меня не беспокоило, и было мне хорошо, тихо, только обидно, что все время соскальзывал локоть с пластмассового стола, и тогда резко бросало вперед-вниз мой заблокированный компьютер. Ему это было очень вредно, сейчас ему необходим покой, он самообучался. Тише, тише, не трогайте его, пусть он живет своей отдельной жизнью...

Летит голубой монгольфьер с зеленой макушкой.

Красное, тугой ковки медное солнце.

«Отдыхайте на курортах Черноморья!»

Синяя вода течет из ладоней.

Это ты, моя любимая, истекаешь из моей жизни.

Хотя это вздор – ты не можешь уйти из моей жизни. Ты можешь истечь только вместе с жизнью.

Плывет монгольфьер по синей воде – это я пролетаю в твоих зрачках.

Ула!

Я больше не могу без тебя. Прости. Не сердись. Прости меня.

Моих сил хватило на два дня. Два дня я не вижу с тобой, два дня назад мы разошлись навсегда. Какая глупость! Какое «навсегда»?

Ула, прости меня, дурака. Ула, я больше не могу. Ула, ты еще не знаешь, что ко мне приходили ночью судьи ФЕМЕ. Их пустил ночью потихоньку в квартиру мой сосед – стукач Евстигнеев. Ула, мне очень страшно жить без тебя. Только не бросай меня, Ула. Прости меня!

Я встану на колени и признаюсь тебе. Этого никто не знает! Ула, ты – мой дух, моя душа, ты – моя надежда на вечную жизнь. Если ты меня бросишь, улетучится душа, останется сморщенная пустая оболочка лопнувшего монгольфьера. Меня перестанут узнавать люди и будут называть Таурином, Степановым или Марковым – это все равно, они все разоренные пленочки давно улетевших душ. Я буду сидеть здесь всегда, сучить копытами, носить чужие ордена и жить в форме пограничника...

Прости меня!

8. Ула. Договорились – мишень с прицелом

По коридору бежали научные сотрудники. Поджарая сухоногая Светка Грызлова обошла на повороте задыхающегося, беременного портфелем Паперника, крикнула мне на бегу:

– Получку дают!

Бегут. Я пропустила их дробно топотававший косяк и толкнула дверь своего бомбоубежища с табличкой «Отдел хранения рукописей».

– Здравсте – здравсте – здравсте, дорогие товарищи. Здравсте. Получку дают, – объявила я, и ветер страстей шевельнул тяжелые своды.

Надя Аляпкина пошла со стула, как ракета со старта, – грузно воздымалась она, и в этой замедленности была неукротимая сила, которая еще в комнате зримо перешла в скорость, светлое пятно ее кофты мелькнуло в дверях и исчезло навсегда. Суетливо заерзала секретарша Галя, опасливо косясь в сторону заведующей М. А. Васильчиковой, недовольно поджавшей губы, и бочком, бочком, нырком, пробежками, по-пластунски ерзнула между столами на выход, ветерком сквознула в коридор. Кандидат в филологию, старший антинаучный сотрудник Бербасов Владимир Ильич, громогласный, с заплесневелой, тщательно выхоженной рыженькой бородкой, человек искренний, исключительно прямой, принципиально говорящий – невзирая на чины, прямо в глаза – только приятные вещи, поднялся над столом, как на трибуне, и я приготовилась услышать что-нибудь принципиально-приятное, но не смогла сообразить, как он это привяжет к получке, а он бормотнул скороговоркой:

– Ула, сегодня вы почему-то необычайно хорошо смотрите... – Потом торопливо откашлялся и со значением сказал Васильчиковой: – Я – в партбюро...

И через миг до нас слабо донесся его неровный ледащий топот застоявшегося мерина.

Я кинула на пустой, только вчера генерально расчищенный мною стол сумку, уселась и посмотрела на Марию Андреевну. Старуха горестно качала головой.

– Сердитесь?

– Нет, – сказала она, и в голосе ее, во взгляде, во всем облике была большая печаль. – Но не понимаю...

Я промолчала.

– Почему они так бегут? Что, не успеют получить свою зарплату? Или кому-нибудь не хватит?

– Не сердитесь, Мария Андреевна, у них нет другого выхода. Бытие определяет сознание, – засмеялась я.

Бабушка Васильчикова – человек старой закалки, совсем иного воспитания, мне трудно объяснить ей, что люди бегут не от кандального грохота – их давно преследует лязг консервной банки на собачьем хвосте.

– Ах, Ула, никто и не заметил, как трагедия сталинской каторги постепенно выродилась в нынешний постыдный фарс всеобщего безделья...

По-своему она права: средний служащий нашего Института литературоведения может с гордостью считать, что он поквитался с системой трудового найма.

– Если посчитать, сколько нам платят и сколько мы делаем, то так и выходит – квиты, – сказала я расстроенной Бабушке.

– Не смейтесь, Ула! – сердито сказала Бабушка, слабо отбиваясь от меня. – Не смейтесь, я поняла окончательно, что современный обыватель – это новый Янус...

– А что в нем нового?

Она серьезно сказала:

– К посторонним он обращается голубоглазым ликом творца и созидателя, а к своим – чугунной испитой харей бездельника. Люди разучились работать...

Пронзительно, как милиционер, свистнул закипевший чайник. Он парит полдня, у нас все любят пить чай с сушками и дешевыми конфетами. Бедная моя, дорогая бабушка! Взгляни на чайник! Неужели раньше ты не замечала, сколько тысяч часов проведено за праздными чайными разговорами!

Влетела с грохотом Света Грызлова и еще из дверей закричала Бабушке:
– Марь Андреевна, я – в Библиотеку Ленина...

Бабушка смотрит на нее застенчиво-грустно, слегка поджимает губы. Ни в какую библиотеку Светка не поедет, а сейчас нырнет в продуктовый, а оттуда сразу – в магазин «Лейпциг», там Сафонова вчера оторвала сумку. Но ничего нельзя менять, да и не нужно, и они обе говорят обязательные слова, как старые актеры повторяют надоевшую роль.

– Хорошо, Светлана Сергеевна. Только запишитесь в журнал...

Господи, мы все столько лет повторяем слова из одной и той же надоевшей скучной пьесы, что знаем наизусть чужие реплики. Сейчас вернется с зарплатой Надя Аляпкина, тяжело отдышится и скажет, что поедет в Бахрушинский музей. А завтра, забыв, что ездила в музей, поведаст, что отстояла огромную очередь за колготками для младшенького в «Детском мире» – нигде детских колготок нет, а они их просто жгут на себе, а потом вспомнит, что у метро давали свежий котлетный фарш, а в «Диете» почти не было народа за рыбой простипомой.

Пришла Люся Лососинова, вернулась секретарша Галя, явился задумчивый Бербасов, уселся за стол и стал сортировать купюры, раскладывая их по разным отделениям портмоне. Отдельно положил десятку в тайный кармашек брюк. Ему тяжело – он платит алименты на детей прежней жене, а от нынешней заначивает деньги для отдыха с любимой девушкой. Видимо, будущей женой. Однажды, остервенясь, Бербасов кричал у нас в комнате: «Ничего! Ничего! Еще два года осталось этому идиоту до восемнадцати! Кончатся алименты – копейки от меня не увидите!»

Я возненавидела его навсегда...

Пыхтя, ввалилась Надя Аляпкина.

– Эйнгольц возьмет твою получку, – сообщила она мне и повернулась к Васильчиковой: – Марь Андреевна, мне надо в Бахрушинку ехать...

– Хорошо, Надежда Семеновна. Только запишитесь в журнал. Педус следит за этим строго...

Бербасов очнулся от своих финансовых грез при слове Педус, которое на его нервную систему рептилии действует как приятный раздражитель:

– Ула, чуть не запамятовал – вас просил зайти после обеда Пантелеймон Карпович...

Врешь, свинья, ничего ты не запамятовал. Никогда твой дружок Педус не попросит – зайдите сейчас ко мне, пожалуйста. Он всегда предлагает зайти через два часа, или после обеда, или к вечеру, или послезавтра – потерпи, помучайся, поволнуйся, подумай на досуге: зачем тебя зовет в свою комнатку с обитой железной дверью начальник секретного отдела. Господи, какие у нас секретные дела в институте? Какие секретные дела у меня лично? Но Педус существует, он у нас всюду. И я его боюсь. Боюсь его неграмотной вежливости, боюсь сосущей пустоты под ложечкой.

– Давайте пить чай, – предложила Галя, а Люся Лососинова уже начала капитально обустроиваться за своим столом.

Люся – симпатичная сдобненькая блондинка – похожа на немецкие фарфоровые куколочки, изображающие балерин и пейзажок в кружевных длинных платьях. Я думаю, у мужиков должны чесаться пальцы от непереносимого желания пощипать ее за бесчисленные кругленькие, мягонькие, беленькие, сладенькие выступы. Всегда приоткрытые, чуть влажные семужно-розовые губки и прозрачные незабудковые глаза, не замутненные ни единой, самой пустяковой мыслишкой. За этими нежными глазками – неотвратимо влекущая бездна неодушевленной пока органической природы.

Природа требует. Она требует неустанно питания, и Люсенька целый день ест. Из дома она приносит сумку с продуктами, и все у нее приготовлено вкусненько и аппетитненько, на чистеньких салфеточках и красивых картонных тарелочках, и вызывают завистливую раздраженную слюну бутербродики с селедочкой, и яичко с икорочкой, и золотистая, как шкварка, куриная пулочка, и вокруг пунцовая редисочка вперемешку с изумрудной зеленью молодого лука и грузинских травочек, огурчики махонькие, громко-хрусткие, помидорчик рыночный краснобокенький, и телятинки ломочек – нежный, розовый, как Люсина грудка. Термос заграничный, крохотный – на один стакан, с кофейком душистым, от души заваренным. И пирожных три – эклер, наполеон и миндальное.

Беспрерывно, с самого утра Люся жует, хрумкает, тихонько чавкает, мнет сахарными зубами, язычком причмокивает, сладко урчит от удовольствия. Поев, аккуратно складывает пакетики, салфеточки, картонные тарелочки в сумку и подсаживается к нам пить чай с сушками и леденцами.

– Я бараночки – ужас как люблю! Особенно сушеные, – говорит она ласково.

Светка Грызлова, веселая грубиянка, добродушная ругательница, унижает ее неслышанно.

– Как же ты можешь жрать целый день и людям крошки не предложишь? А потом еще наши сушки молотишь, как машина! Ты, животное!

– Ну не сердись, Светочка! У меня организм такой!..

И сейчас она уже раскладывает на столе свои бесчисленные кульки, свертки и пакетики, краем глаза косясь на корзинку с сушками.

А тут зашли женщины из отдела библиографии посоветоваться – предлагали почти новые джинсы. Закипел торг. Во всех учреждениях женщины обеспечивают себя за счет натуральной торговли – дообщиного обмена. Продают неношенные кофточка, покупают «фирменные» юбки, меняют сапоги на французские туфли с доплатой, косынки на бюстгальтер, ночную сорочку на шарф, польскую косметику на югославские солнечные очки.

Галя перепечатывает – для себя – со светоконии стихи Мандельштама. Круглова из отдела фондов списывает под диктовку Люси Лососиновой рецепт торта «Марика», Сафонова вырезает из газеты переведенную с выкройки модель платья, а тут вернулась неожиданно Аляпкина с полной сумкой бананов – около института с ларька продавали, народу почти нет, не таскаться же целый день с авоськой.

Заодно она рассказывает, что у нее есть адрес портнихи, которая перешивает из купленных в комиссионке на Дорогомиловке офицерских шинелей женское пальто – закачаться можно, последний импортный писк!

Заглянул Мотя Фильштейн, просит разрешения в нашей комнате порисовать стенгазету – у них мужики устроили шахматный турнир, накурили – не продохнуть.

Закончив вопрос с джинсами – решили не брать, дорого, – женщины пьют чай, рассказывают мифические истории о прекрасных, щедрых любовниках и грустные притчи о пьющих мужьях, не спеша делятся сплетнями, обмениваются советами в лечении и воспитании детей, сообщают о новейших диетах, вспоминают об отпусках, свадьбах и примечательных домашних событиях.

Все время звонит телефон – за восемь часов массу делишек можно устроить с помощью этой милой выдумки Эдисона. А не устроишь – то просто отдохнешь за приятной беседой.

Галя кладет трубку внутреннего телефона и кричит:

– Девушки, внимание! Завтра в десять часов гроб!.. Все слышали?

– Какой еще гроб? – пугается Люся Лососинова.

– Гражданская оборона! Семинар!

Мотя Фильштейн отрывается от сосредоточенного рисования огромного знамени на листе ватмана.

– Эй, старухи, а вы не забыли, что от вашего отдела на той неделе трое должны сдавать норматив ГТО?

Моня заведует сектором в профкоме, у него свои заботы.

На лице Бербасова тоска, он мучится, что сейчас лето, в сети политучебных каникул, и он не может нам напомнить, что завтра у нас занятия по диалектическому материализму.

А старухи забыли, не помнят, они не желают думать обо всем этом. Они сейчас красят друг другу маникюр, Круглова начесывает мне перед зеркалом стрижку «а-ля сосон». Разве что не моемся. Наверное, потому, что нет души.

Будний день. Не выходной, не праздник, не карантин, не сумасшедший дом, не светопреставление. Обычный рабочий день.

Раньше я думала, что так работают только в нашем институте. Но мои знакомые физики, инженеры, врачи, служащие рассказывают приблизительно то же самое про свои учреждения.

Наверное, это и есть та обстановка огромного трудового подъема, в котором, как уверяют ежедневно газеты, живет все наше общество. Наверное.

Но ведь летают ракеты, ходят поезда, где-то льют сталь и добывают на-гора уголек. Все это кажется мне не естественным результатом человеческого труда, а каким-то удивительным чудом. Ведь и там царит обстановка огромного трудового подъема? Правда, ракеты падают, поезда разбиваются, а сталь льют плохую. Но...

– Ула, вот твоя получка, – протянул мне через стол тошную пачечку Эйнгольц, подслеповато щурясь за толстыми линзами своих бифокальных очков, и от этой прищуренности и рыжего румянца у него был застенчивый вид, будто он стеснялся того, как мало я зарабатываю.

Сегодня малая получка – расчет. В аванс я получаю пятьдесят пять рублей, а сегодня – минус восемь рублей двадцать копеек подоходного налога, минус пять сорок бездетного налога, минус рубль десять – профсоюзный взнос, минус девять шестьдесят в кассу взаимопомощи – долг за стиральную машину. На руки – тридцать рублей семьдесят копеек. Одна десятка, две пятерки, две трешки, четыре мятых рублика, пригоршня медяков.

Поквитались лень с нищетой.

Но скоро я разбогатею. Как только аттестационная комиссия утвердит мою кандидатскую диссертацию, мне добавят пятьдесят рублей.

– Спасибо, Шурик, я тебе очень обязана...

Шурик ласково ухмыляется, часто помаргивает толстыми красноватыми веками:

– Неслыханный труд! Надорвался, пока нес твои миллионы!

Суетливый ровный гомон голосов вокруг прорезал скрипучий отчетливый возглас Марии Андреевны Васильчиковой:

– Запомните, Бербасов, что дикость, подлость и невежество не уважают прошедшего, а пресмыкаются перед одним настоящим...

На миг наступила зловещая тишина, которую Бербасов, забыв о своей принципиальной установке разговаривать приятно, вспорол пронзительным вопросом:

– Хотелось бы яснее понять, на что вы намекаете, уважаемая Мария Андреевна?

Бабушка немного помолчала, потом тихонько засмеялась:

– Я не намекаю, а цитирую. Вам, Бербасов, как профессиональному литературоведу, не мешало бы знать, что это слова Пушкина. Впрочем, вы не пушкинист. Вы ведь специалист по поэзии Демьяна Бедного...

Наверное, нервную систему Бербасова расшатали денежные неурядицы. Он скинул с себя заскорузлую робу всегдашней приятности, как пожарный свой комбинезон после ложной тревоги, и запальчиво крикнул:

– Да-да-да! И несколько об этом не жалею. И очень я доволен темой своей диссертации! И если бы пришлось выбирать снова, я бы, не задумываясь...

Бабушка грустно покачала головой:

– Ах, Бербасов, Бербасов! Боюсь, мне не объяснить вам, что поэт – это не тема. Поэт – это мир...

Эйнгольц хлопнул Бербасова по плечу:

– Угомонись, боец! Не демонстрируй. Человек, довольный собой к старости, ни о чем не жалеющий и не мечтающий все изменить, – просто кретин...

Я встала:

– Ладно, я пойду к Педусу. – И мучительно заныло под ложечкой.

Великая сила ужаса, неслыханная энергия страха.

И частичку этой энергии я внесла в складчину нашего кошмара, нажимая на кнопку звонка перед дверью спецотдела. Страх начинается с необъяснимости – никому не понять, почему на всегда запертой двери спецотдела должна быть звонковая кнопка, почему сюда надо звонить, а не стучать, как в любую дверь института.

Звонят и долго ждут. Там, за дверью, не опасаются, что, разок звякнув, можешь уйти, не дождавшись приглашения. Сюда никто сам не ходит, а если вызвали, то есть пригласили, то постоишь, подождешь как миленький.

Потом щелкнул замок, приоткрылась тяжелая, обитая железом дверь, и на меня воззрилась белым оком без бровей Кирка Цыгуняева – секретарша Педуса. Она называется инспектор первого отдела. Через ее плечо я видела – сейчас она инспектировала банку с сельдью, раскладывала, по росту делила в два пергаментных пакета. Селедка нынче дефицит, нигде нету. Видимо, как говорит мальчонка Нади Аляпкиной, где-то «скрали». Или за трудную работу паек им полагается.

– Меня Пантелеймон Карпович вызывал, – сказала я и с ненавистью к себе заметила, что против воли, против разума, против всего на свете говорю тихим, заискивающим голосом.

Я эту белоглазую суку тоже боюсь. Она сидит за запертой железной дверью. Господи, как мы привыкли к театру абсурда! Любую пару разнополых сотрудников, застигнутых на работе в запертой комнате, замордовали бы разбирательством «аморалочки на производстве», замутили бы бесстыдными грязными расспросами, допросами, очными ставками.

Но не этих. Эти двое вурдалаков сидят взаперти по должности. Им полагается сидеть при закрытых дверях. Видно, их миссия предполагает такую святость, такую избранность функций, что сама мысль об их мерзких забавах на скользком дерматиновом диване должна быть кошунством. Да и я бы думать об этом не рискнула, кабы не работала так давно в нашем институте. Уже на моей памяти произошел громкий скандал, когда явилась в институт моложавая бойкая жена прежнего дряхлого директора и долго, с матерком, жуткими криками возила за волосья по коридору его тогдашнюю секретаршу Кирку Цыгуняеву, шумную, добродушно-распутную белоглазую девку.

Супруга вернула директора окончательно в лоно семьи, поскольку вскоре после замятого скандала его вышибли на пенсию, и он успел лишь, как падающий вратарь в броске, сплавить Кирку в первый отдел, где за годы сидения взаперти ее добродушие усохло вместе с блеклыми прелестями. Круглыми белыми глазами без ресниц смотрит она на нас, и взгляд ее подсвечен тусклым блеском злорадства и угрозы: «Я о вас такое знаю!...»

Кирка и Педус, наверное, ласкают друг друга чистыми руками. Пахнущими пайковой селедкой.

В этой вольере есть электрический звонок на входе, но нет умывальника – Пантелеймон Карпович утирает измазанные селедкой руки газеткой. Эти руки гипнотизируют меня – в них страшная ненагруженная сила, нерасплесканная прорва жестокости. Толстые пальцы с короткими обломками ногтей, заросших пленкой серой кожи, рвут газетный лист, стирают жир, слизь и селедочные чешуйки.

Бросил Педус мятый газетный ком в корзину и поднял на меня безразлично-строгий взор. Верхняя кромка его взгляда упиралась мне в подбородок, будто я через отдушину в

потолке высунула голову на второй этаж, и он при всем желании не может посмотреть мне в глаза.

– Так, Суламифь Моисеевна, – сказал Педус и замолчал. А я поймала себя на том, что стремлюсь заглянуть ему в глаза, показать, что я во всем искренна, что я еще ни в чем не провинилась. Но он мне этого не позволил, он смотрел мне в подбородок, и еще немного в бок, за спину, туда, где шуршала бумагой Кирка Цыгуныева. Ей-то он доверял, но среди них первый принцип – доверяй, да проверяй. Вдруг «скрадет» на селедку больше?

– Руководитель агитколлектива товарищ Бербасов жалуется, что вы уклоняетесь от работы в избирательной кампании, – огласил он обвинение, почти не открывая длинную и очень узкую ротовую щель.

У кого просить снисхождения, кому жаловаться? Педусы претерпели эволюцию как физиологический тип. Социальная мутация, новая порода человекообразных существ. Среди них почти нет лысых – последней исчезла лысина Хрущева, и с ней окончательно пропало хоть что-то человеческое в них. Нет лысых. Мало думают. Командуют и сердятся.

Тяжелые брыластые щеки, раздавившие змеистые безгубые рты. Нет толстогубых добрых весельчаков. Сердечный веселый человек не может стать начальником – он ненадежен в предназначении вечному злу. Атрофировались губы, превратились в роговые жвалы, которыми косноязычно гугнят что-то написанное на бумажке. Артикуляции нет, жвалы мешают, все дело в этом.

Глаза пропали. Стекловидные мутные пузыри в заграничных очках. Как они все похожи, бессмертные злые старики-здоровяки!

– Что же вы молчите? – шевельнул крепкими жвалами Педус. – Нехорошо...

– Я не уклоняюсь, – тихо ответила я и поразила сиплости своего голоса. – Я только недавно закончила оформление документов для представления диссертации в ВАК – вы же знаете, как много их требуют. Вчера я завершила опись архива писателя Константина Мосинова – это была срочная работа по указанию директора...

Педус приподнял взгляд на два сантиметра:

– А зачем – Мосинов ведь жив?

– Не знаю. Он почему-то при жизни передал нам весь архив. Директор мне велел...

Взгляд снова опал – он не обнаружил ничего занимательного в том, что здоровенный и якобы активно работающий литератор при жизни сдает свой архив. Во всяком случае, ничего нелояльного в этом не усматривается. А если даже что не так, то это вопрос не его уровня – не ему судить о лояльности такого выдающегося писателя, как Константин Мосинов. Раз директор сказал – значит нечего рассуждать. Лучше поговорить обо мне.

– Ваша диссертация – это ваше личное дело, и нечего оправдывать личными делами отсутствие общественной активности...

– Моя диссертация включена в научный план института, – робко заметила я.

– А вы не препирайтесь со мной, я вас не за этим вызывал, – сжал свои страшные желтоватые пальцы с обломанными ногтями Педус, и я испугалась, что он мною оботрет их, как недавно газетой. – Оправдываться, отговорки придумывать все мастера, все умники. А как поработать для общего дела всей душой – тут вас нет...

– Я никогда не отказываюсь ни от какой работы, – слабо вякнула я.

А он неожиданно смягчился, пожевал медленно фиолетовыми губами, будто пробуя на вкус свои пресные, линияльные слова:

– Вот и сейчас нечего отлынивать. Вы человек грамотный, должны понимать общественно-политическую значимость такого мероприятия, как выборы... – Подумал не спеша и добавил, словно прочитал из смятой, вымаранной селедкой газеты: – Надо разъяснить населению обстановку небывалого политического и трудового подъема, в который наш народ идет к выборам...

Он – киборг. Порочный механический мозг, пересаженный в грубую органическую плоть. Он – неодушевленный предмет, ничей он не сын, никто его никогда не любил. И вызвал он меня не ради выборов.

– Значит, больше не будет у нас разговоров на эту тему. Договорились? – утвердительно спросил Педус. – Согласны?

– Договорились, – сказала я. – Согласна...

Мы согласны. Со всем. Всегда. Все. Миры замкнуты. Педус наверняка не слышал о декабристе Никите Муравьеве, а то бы он ему показал кузькину мать за кощунственные слова – «Горе стране, где все согласны».

Они – звено удивительной экологии, где горе страны и униженность граждан – источник их убогого благоденствия, извращенной звериной любви за железной дверью и пайков с баночной селедкой.

А Педус уже крутанул маховичок наводки и впервые посмотрел мне в глаза. С настоящим интересом снайпера к мишени.

– Еще у меня вопросик к вам есть, товарищ Гинзбург...

Молчание. Пауза. Палец ласкает курок. Мишени некуда деться.

– Я оформлял для аттестационной комиссии объективку на вас, возник вопросик...

Жвалы уже не шипят, они щелкают ружейным затвором. Не стучи так, сердце, затравленный зверек, мишень в тире должна быть неподвижна.

– Там как-то не очень понятно вы написали о родителях...

– А что вам показалось непонятым?

– Когда был реабилитирован ваш отец?

– Моему отцу никогда не предъявлялось никаких обвинений. Он был убит в тысяча девятьсот сорок восьмом году в Минске...

– При каких обстоятельствах?

– Прокуратура СССР на все мои запросы всегда сообщала, что он пал жертвой не установленных следствием бандитов.

– Ай-яй-яй! – огорчился Педус. – Он был один?

– Нет, их убили вместе с Михоэлсом...

– Так-так-так. А ваша мамаша, извините?

– Она была арестована в сорок девятом году, в пятьдесят четвертом направлена в ссылку, в пятьдесят шестом реабилитирована. В шестьдесят втором году умерла от инфаркта. Все это есть в моей анкете...

– Да, конечно! Но, знаете ли, живой человеческий разговор как-то надежнее. А копия справки о реабилитации мамаша у вас имеется?

– Имеется.

– Ну и слава богу! Все тогда в порядке. Вы ее занесите завтра, чтобы каких-нибудь ненужных разговоров не возникло. Договорились?

– Договорились.

Захлопнула за собой железную дверь, медленно шла по коридору, и мне показалось, что от меня несет селедкой. Договорились мишень с прицелом.

Зачем ему справка?

9. Алешка. Брат мой Сева

Во сне я плакал и кричал, я пытался сорвать свой сон, как лопнувшую водолазную маску. Он душил меня в клубах багровых и зеленых облаков, в разрывах которых мелькали лица Антона, Гнездилова, Торквемады, Левы Красного, и все они махали мне рукой, звали за собой, а я бежал, задыхаясь, изворачиваясь, как регбист, потому что в сложенных ладонях своих я нес прозрачную голубую истекающую воду – Улу. А там – на границе сна, в дрожащем жутком мареве на краю бездны – меня дожидались зловещие черно-серые фигуры судей ФЕМЕ. Во сне была отчетливая сумасшедшая озаренность – судьи ФЕМЕ хотят отнять мою живую воду...

Открыл глаза и увидел за своим столиком Севку.

– Здорово, братан, – сказал он, ослепительно улыбаясь, как журнальный красавчик. Он и по службе так шустро двигается, наверное, благодаря этой улыбке.

– Здорово... Как живешь?

– А-атлична! – белоснежно хохотнул. А глаза бульжные. Он меня жалеет. Севка на шесть лет старше меня. А выглядит на десять моложе. Он полковник. А я – говно. Он – всеобщий любимец, папкина радость, мамкино утешение. А я – подзаборник, сплю в кафе ЦДЛ.

– Выпьем по маленькой, малыш?

– Выпьем, коли ставишь.

Охотнее всего он бы дал мне по роже. Но нельзя. Севка вообще ни с кем никогда не ссорится. Это невыгодно. Интересно, их там учат драться?

– Конечно поставлю! Я сейчас пока еще богатый!..

– Не ври, Севка. Не прибедняйся, ты всегда богатый.

– Ну, знаешь – от сумы да от тюрьмы...

– Брось! – махнул я рукой. – У тебя профессия – других в тюрьму сажать да чужую суму отнимать...

– А-аригинально! – захохотал Севка. – Надеюсь, у тебя хватит ума не обсуждать этот вздор с твоими коллегами?

– Зачем? Тут каждый пятый на твоих коллег работает!

Севка кивнул Эдику, и тот как из-под земли вырос с графинчиком коньяка и парой чашек кофе.

– Еще кофе! Много! – сказал я Эдику, он обласкал меня своей застенчивой улыбкой и рысью рванул к стойке.

Севка достал из красивого кожаного бумажника с монограммой десятку и положил ее на столешницу, пригладил ногтем и рюмкой прижал. Не шутил, не смеялся, не глазел по сторонам, а молчал и смотрел на десятку, как вглядываются в лицо товарища перед расставанием. Он с детства любил просто смотреть на деньги. Он тяжело расходился с ними – как с хорошими, но блудливыми бабами.

– Не жалей, Севка, денег, – сказал я ему. – Скоро война начнется – сами пропадем.

Полыхнул он улыбкой, головой помотал, разлил по рюмкам коньяк.

– Ну что, будем здоровы? Давай за тебя, обормот, царапнем. – Вылакал, не сморщившись, наклонился ко мне, сказал тихонько: – Тебя твоя профессия очень дурачит, ты начинаешь придавать слишком серьезное значение словам. Ты верь не словам, а тому, что они скрывают. Ну что, еще по рюмке?

– Нет, мне хватит. Ты на что намекаешь?

– Я намекаю на то, чтобы ты молол языком поменьше, а побольше думал. Тебе уже пора...

– Так о чем велишь подумать?

– О том, что, сидя на двух стульях, ты себе задницу разорвешь.

– А почему – на двух стульях?

Севка вылил из графина коньяк в свой фужер – чтобы не пропало оплаченное, со вкусом выпил, вытер свежие губы херувима и сказал мне отдельно:

– Великий Гуманист объявил: «Кто не с нами, тот против нас». В твои годы человек должен определить позицию, а не болтаться, как дерьмо в проруби...

– Отсутствие твердой позиции – позиция художника, – ответил я вяло.

– Малыш, я говорю с тобой серьезно. Писатели в первую очередь – служащие, мелкие или крупные – уж как там у них выходит, а потом лишь художники. Нам не нужны Пегасы, а потребны тихие ленивые мерины. Поэтому вам сначала надевают на морду торбу с овсом и сразу же подвязывают шоры, потом вдевают удила, затем – шенкеля, потом дают шпоры, а если понадобится – ременную плеть...

– Тебе приятно унижать меня? – спросил я его просто.

– Нет, малыш. Я хочу, чтобы ты взялся за ум и стал человеком.

– А что это такое – стать человеком?

– Определись. Хочешь стать нормальным писателем – мы тебя за два года в секретари Союза протащим. Не хочешь слушаться Маркова и Кожевникова – слушайся Солженицына, мы тебе быстро вправим мозги своими методами. Только не сиди здесь и не спи за столиком пьяный.

– А тебе что до этого?

– Потому что, Алеха, ты мой брат. Ты меня когда-то очень любил. И слушался.

– А теперь не люблю. И не слушаюсь... – сипло сказал я и почувствовал, что сейчас заплачу. И очень боялся, что он это заметит, – я хотел, чтобы ему было обидно, больно и горько, а в груди у меня гудела черная гулкая пустота.

Севка пожал плечами, криво усмехнулся и устало предложил:

– Поехали ко мне ужинать?

– Нет, я устал сегодня. Если можешь, отвези меня домой.

– Давай... А-атлично отвезу. – И снова залучился, просиял, залыбился.

Пошли мы с ним через дым, парной гомон кафе, толкотню и перебранку – как поплыли, а шел Севка чуть сбоку от меня и чуть сзади – вроде бы он и не со мной, а сам по себе прогуливается. Он стеснялся меня. Жалел и стеснялся. Он хотел, чтобы я стал человеком.

В деревянном вестибюле играли в шахматы писатели-подкидыши, одинокие старые сироты. Томимые безмыслием и отвращением к своему родному домашнему очагу, они сползаются сюда по вечерам, бездарно выигрывают и бессмысленно проигрывают, гоня по клеткам деревянные резные фигурки, в надежде растратить тягостное свободное время. Они похожи на деревенских старух, коротающих на завалинке вечера в поисках вшей. Свободное время терзает их, как эти мерзкие злые насекомые, и они хищно ловят его и с треском давят обкусанными ногтями короткопалых тупых рук.

И с балкончика второго этажа смотрит за ними Петр Васильевич Торквемада, ими он доволен, эти в свободное время запрещенных книжонок не читают, о свободе не пустобрешат, анекдотов о начальстве не рассказывают.

Тут он нас увидел с Севкой – махнул рукой, полыхнул мутно окулярами, щелкнул протезной челюстью и взвился в воздух, со свистом в пике вошел, у паркета повернул ногой, как рулем вертикали, повис на миг и плотно в пол впечатался. И Севку душевно обнял, за плечи потряс, сказал на всхлипе:

– Ах, какой ты добрый молодец вымахал!..

Тут только я сообразил, кто Севку так быстро разыскал, ко мне неотложкой в кафе вытребовал. Отошли они в сторонку, Торквемада быстро, бойко буркотел Севке на ухо, в грудь его пальчиком подталкивал, по спинке нежно ладошкой оглаживал, втолковывал, в мозги ему впрессовывал, доверялся, жаловался, в душевной боли раскрывался, с боевым товарищем

советовался, и над этой кислой кашей пережеванных страстей вонючими брызгами вылетали отдельные словечки:

– Мы... с панталыку... с вашим батькой... балбес... враги... окружение... вербовка... чекисты...

А мне было все равно, я сегодня устал, пропал кураж, пьянка назад покатила. Подступила блевотина, и распирало мочевого пузыря. Я подумал, что хорошо бы сейчас подойти к Торквемаде и Севке, пока они так дружно обнялись в своем педсовете, и обоссать их. Они так увлеклись, что и не сразу бы заметили. Два обоссанных шпиона – замечательно!

Но тут они обнялись еще раз, трогательная картина – старый мастер заплечных дел и признательный талантливый ученик.

Господи, как мне надоело все! Господи, как мне все невыносимо противно!

А Севка махнул мне рукой и направился к выходу. Торквемада, не глядя на меня, вприпрыжку зашагал на своих подагрических ходулях, захрустел артритными суставами вверх по лестнице. Там, наверху, у него логово, где пахнет архивной пылью, звериной мочой, плесенью, вдоль стен стоят шкафы, в которых, поговаривают, на каждого из нас есть досье, огромный старинный диван, похожий на эшафот, по углам валяются недогрызанные человечьи кости, а на столе – вертушка, правительственный телефон.

На улице было все покрашено кричащим желто-красным светом июльского заката. Жарко и пусто. Напротив, из ворот бразильского посольства, выкатили на шикарной машине хохочущие нарядные негры. Наверное, поехали к бабам. А может, по делам. Один из них почему-то помахал мне рукой, ладонь была как у обезьянки – длинная, розовая.

– Жуткий народ, – сказал у меня над ухом Севка, он тоже смотрел им вслед.

– Да-а? Почему?

– Грязные ленивые твари. И очень наглые. Мы еще с ними наплачемся...

Пузырь внутри меня стал огромным и тяжелым, как Царь-колокол. И так же мог треснуть каждую минуту. Севка обошел свою сияющую, вылизанную «Волгу» и стал отпирать дверь, а я притулился к заднему крылу, расстегнул штаны и обильно полил ему колесо. Севка сначала не понял, что я делаю, – ему такое в голову не могло прийти, ведь за такое хулиганство можно с загранслужбы вылететь. А кроме того – мочиться на его машину! Полированную, лакированную, в экспортном исполнении, оплаченную новенькими распрекрасными зелененькими долларами, с каждого из которых Севка сам заботливо и любовно стирал ком грязи и ком крови.

Наклонив немного голову и повернувшись назад, он смотрел на меня через стекло, и на лице его была оторопь и мука, потому что сейчас уж было ему совсем не понять: кого надо жалеть больше – меня или валютную обоссанную «Волгу».

Но видать, их там чему-то учат, потому что утерпел, ничего не сказал, дождался, пока я открыл дверь и с облегченным вздохом плюхнулся на сиденье, затянутое алым финским чехлом.

Покатались, помчались, пошуршали на Колхозную, и до самой Маяковской площади Севка переживал в себе боль и копил жалость к нам обоим, пока не сказал, собравшись с силами:

– Мне Петр Васильевич на тебя жалуется...

– Пусть он поцелует меня в задницу, твой Петр Васильевич, – ответил я сердечно.

Севка похмыкал, и это выразительное хмыканье было красноречивее всяких слов – что с пьяным дураком говорить?

Так мы и катились по вечерним тихим улочкам в насупленном злом молчании. Убаюкивающе ровно гудел мощный мотор, ласково шоркали, с шелестом и присвистом раскручивались колеса по Садовой, залитой безнадежно желтым вечерним светом – цветом отчаяния, и воздух, пропитанный бензиновыми парами и запахом теплого гудрона, медленно и верно удушал, как «циклон Б». На тротуарах у закрытых овощных киосков стояли огромные пустые

ящики-клетки с раскатившимися на дне окровавленными мятыми головами арбузов. Жившие в клетках звери пожрали своих гладиаторов и в голоде, тоске и ненависти разбежались по замирающему городу. Гладиаторы с отъеденными головами – как знак безнадежности – бесплотно струились у запертых дверей магазинов с вывеской «ВИНО».

Лохматые хулиганистые подростки с гитарами и велосипедными цепями пили в подворотнях бормотуху, пронзительными голосами кричали, матерились и громко хохотали.

А на углах стояли подкрашенные дешевки с прозрачными лицами идиотов.

Ах, пророки, прорицатели, предсказатели, сказители! Иерархи и юродивые! Вы это имели в виду, предрекая – быть Москве Третьим Римом? Вы про что толковали, про величие или вырождение?

Эх, дураки, мать вашу! Все сбылось...

Севка плавно притормозил около моего дома, встав сразу же за моим обшарпанным грязным «москвичом». Я подумал, что наши машины похожи на своих хозяев.

– Смотри, бегают еще твой «москвичонок», – удивился Севка.

– Бегают.

– Пора менять на новую...

– Хорошо, завтра куплю «мустанг»... – Я полез из машины, норовя как-нибудь так попрощаться, чтобы не давать Севке руки, но он положил мне свою крепкую большую ладонь на плечо и сказал негромко:

– Алеха, не дури. Не из-за чего нам ссориться. Ты этого не знаешь, но еще поймешь. Ты еще поймешь, Алешка, что тебе глупо меня ненавидеть. Да и за что?..

Я захлопнул за собой дверцу, и Севка крикнул мне в окошко:

– Завтра приходи к старикам обедать...

И умчался.

Господи, зачем ты отнял у меня мой голубой монгольфьер?

Вчера в издательстве мне сказала редакторша Злодырева: «Ваш герой в романе заявляет – мы погибнем от заброшенности и озабоченности». Что это значит? Действительно – что это значит?

Ула! Ты ведь знаешь, что это значит. Какая пустота! Какая бессмыслица во всем. Мне надоело все. Мне надоела эта жизнь. Я сам себе невыносимо надоел.

Идти домой было боязно – там темнота, запустение, в коридоре поджидает ватный кабан Евстигнеев.

Отпер дверь «москвича» и сел за руль. Не знаю, сколько я сидел в маслянистой тишине, облокотившись на пластмассовое колесо баранки. А дальше все произошло как под гипнозом. Я сунул в замок зажигания ключ, мучительно заныл от усталости стартер, чихнул, затрещал, рявкнул мотор, и, не давая ему прогреться, а скорее самому себе одуматься, остановиться, перерешить, рванул руль налево, колеса спрыгнули с тротуара, и я помчался по улице...

Я гнал по пустынным улицам, вжимая каблуком до пола педаль акселератора, и мотор захлебывался от напряженного рева, полыхал большой свет фар, тревожно бились оранжевыми вспышками на поворотах мигалки, когда я на полном ходу прорезал редущие ряды машин, колеса испуганно гудели на выбоинах и трамвайных рельсах. Засвистел у Красных ворот милиционер, но я плевал на него. Что будет завтра – не имеет значения, а сейчас никто меня не мог догнать и остановить. Я бежал от себя самого.

Бросил незапертую машину во дворе, вбежал в подъезд, поднялся на лифте, нажал на кнопку звонка и, услышав за дверью негромкие шаги, почувствовал, что у меня сейчас разорвется сердце.

– Что с тобой? – испуганно спросила Ула.

Я втолкнул ее в переднюю, захлопнув за собой дверь, и прижал изо всех сил к себе.

– Ты моя... никому не отдам... ты моя душа... ты мой свет на земле... ты мой монгольфьер... ты вода в ладонях... ты воздух... ты свет... ты остаток моей жизни...

Ула не отталкивала меня, но она была вся твердая от напряжения и уходящего испуга. Она молчала. Она не раздумывала – она слушала себя самое.

В освещенной комнате на стене мне была видна большая фотография деда Улы – смешного старикана в пейсах, картузе и драповом пальто, застегнутом на левую сторону. У него сейчас лицо было как у иудейского царя – высокомерное и горестное. В нем была замкнутость и неодобрение. Мне пришла сумасшедшая мысль, что Ула прислушивается к нему. От страха я закрыл глаза и почувствовал, как она обмякла у меня в руках.

10. Ула. Мой любимый

Мне кажется, я помню тот вечер, когда мы пришли сюда.

Отгрохотала тяжелая, труднодышащая гроза, унося лохмотья туч на восход, туда – за мутный Евфрат, бурливо-желтый Худдекель, еще называемый Тигр.

Бушевали на горизонте голубые сполохи молний, и в их истерических коротких вспышках видны были низкие кроны пустынных акаций ситтим, прижимающихся к земле, как спящие звери.

Красный мокрый грунт. Пучки клочковатой выгоревшей травы.

Пахло горелым навозом, прибитой пылью, пряными цветами.

Вдалеке у леса багровым заревом нарывал костер.

Человек спрыгнул на Землю, и отпечатались в ней его следы. Наклонился и набрал рукой пригоршню, помял в ладони.

– Адама – глина, – сказал высоким звенящим голосом.

Помахал рукой на прощание, крикнул:

– Будь благословен, Пославший нас!

И пошел на север, в сгустившуюся тьму, где расстилалась земля обетования, суровая колыбель новой жизни, юдоль горечи, вечного узнавания.

Его еще видели все, когда он поскользнулся в луже и упал, перемазавшись в глине.

И слышали в немоте ночи его смех и его голос, в котором дрожали слезы бесстрашия, упорства и одиночества:

– Я – Адам. Сотворенный из глины. Я – Адам. Помните меня под этим именем. Я – Адам...

Адам... Адам... – звучало в моих ушах, а я уже не спала.

Да я и раньше не спала. Блаженство было невыносимым, как мука, и сотрясающие меня токи с ревом и стоном оживляют ячейки моей древней памяти, заглушая, стирая все происходящее вокруг.

Повернулась на бок и увидела, что Алешка не спит. Он смотрел мне в лицо, положив свою горячую ладонь на мою спину. Прижал меня ближе к себе, и мы молча смотрели друг на друга и думали мы об одном и том же. Я уверена: он тоже вспоминает, как мы познакомились.

А я вдыхала его сильный горьковатый запах и смотрела, как мерцают блики уличного света в его глазах.

...Я ехала на день рождения к подруге – от метро «Войковская», почти час на автобусе до Бибирева. Зима. Конец декабря. Он вошел на остановке, рослый, красивый, без пальто и без шапки, и от его белокурой головы поднимался прозрачный парок. Он прижимал к себе три бутылки шампанского. И был уже слегка навеселе. Почему он без пальто? Он огляделся мельком в автобусе, увидел меня. Шагнул ближе, свалил на сиденье бутылки, как дрова, и сказал:

– Девушка, у меня нет мелочи. Купите у меня за пятак бутылку шампанского!

– Я не делаю дешевых покупок, – сухо сказала я ему и отвернулась к окну. Он мне понравился, он мне сразу очень понравился...

Алешка приподнялся на локте и стал целовать меня в грудь, жесткие шершавые губы, волнующие, алчные, ползет от вас по коже шершавый холодок, сладко замирает в груди.

...Он уселся рядом, сложив свои бутылки на колени.

– Поеду без билета, – сказал он весело. – И если контролеры заберут меня в милицию, грех падет на вашу распрекрасную головку.

Я молча смотрела в окно, в круглую черную дырочку, протертую в наледи на стекле – прорубь в черный бездонный мир, оттаянную любопытными теплыми пальцами. Громадный океан тьмы, слабо подсвеченный огнями уличных фонарей и встречных машин – глубинных фосфоресцирующих жителей. Агатовый дымчатый кружок – иллюминатор батискафа, проваливающегося в бездну. Я видела, как там, за тонкой холодной стенкой, взмахивают костистыми плавниками голых веток заледеневшие деревья-рыбы и упираются в мой зрачок стальные глаза светофоров, висят невесомые коробки затонувших домов.

Он мне очень нравился. И я боялась его. Я не хотела его тепла, мне боязно было смотреть, как курится белый парок над его головой, я так страшилась взглянуть в его светлые глаза оккупанта! Но он мне нравился. С ним было не так ужасно в душной капсуле батискафа, летящего в тартарары...

Алешка думает о том же, он вспоминает вроде бы отдельно, но и вместе со мной. Я закапываюсь лицом в его грудь, а от рук его, быстрых, жарких, легко скользящих по моему животу, ногам и снова по груди, вливается в меня сухой жар, и каждая клеточка рвется к нему – быть ближе. Господи, неужели когда-то его не было со мной?!

Он остановил бесцельный пролет батискафа, ткнув пальцем в мои чахлые гвоздики, запеленутые вспотевшим целлофанчиком:

– У вас есть цветы, а у меня вино. У вас – очевидная красота, а у меня – общепризнанный талант. Давайте объединим наше богатство и станем счастливы, как первые люди.

– Слушайте, талант, по-моему, вы просто волокита. Дайте пройти, сейчас будет моя остановка.

– Какое совпадение! Моя – тоже!

Это он, конечно, врал. Ему надо было выкидываться в створчатый люк батискафа давным-давно, когда плавающие в черноте пятиэтажки Лихоборов висели на самой малой глубине...

Алешенька, любимый мой, почему люди не придумывают названия для любовных игр? Я не понимаю, почему, написав миллионы стихов о любви, романтики, мечтатели и поэты постыдились дать имя блаженному слиянию, венцу и вершине любви, и осталось оно как название болезни – имуществом и достоянием врачей, именующих его собачьим словом «коитус», и арсеналом хулиганья и дикарей, подобравших ему матерные прозвания и пакостные клички.

Алешка, как крепки твои руки, как горячи твои бедра на ногах моих, которые я распахиваю тебе навстречу, любимый мой! И сколько бы раз мы ни любили друг друга до этого, сердце снова замирает в миг, когда ты со стоном-вздохом-вскрикомходишь в мое лоно, разжигая своим яростным факелом внутри все нарастающее пламя, гудящее, слепящее, счастливое.

– ...Я иду с вами, – сказал он на заснеженном кусочке бездны – наш батискаф с хриплым урчанием уже мчался дальше вглубь, унося во мрак и прорву Бибирева красные хвостовые огни.

Я молча пошла по тротуару, надеясь и боясь, что ему надоест и он отстанет. Но он шел рядом, насвистывал, радостно смеялся, разговаривал, будто сам с собой:

– А почему бы и нет? Где же еще в наше время знакомиться двум приличным людям? На работе все надоели. Всех знакомых уже знаешь. Знакомых знакомых – тоже. В рестораны женщины ходят со своими мужчинами. На концертах я не бываю. В библиотеки не хожу. Нет,

автобус – все-таки самое подходящее место. И пожалуйста, не спорьте со мной, я это понял точно.

– Я с вами не спорю. А знакомиться не хочу.

– А почему? – искренне удивился он. – Почему, не зная обо мне ничего, вы заранее против меня? Подумайте сами, со сколькими дрянными людишками вы знакомитесь только потому, что какой-то третий, тоже малознакомый гусь говорит: «Познакомьтесь, это мой друг» или «Это наш новый сотрудник».

Я засмеялась и спросила:

– Чего вы ко мне привязались? Зачем вам нужно это?

Он загородил дорогу, поставил на снег свои бутылки и серьезно сказал, прижимая руки к толстому свитеру:

– Вы – женщина из моего забытого сна. Я забыл вас, когда проснулся. А сейчас увидел в автобусе и сразу вспомнил. Конечно – это вы! Вы мне приснились впервые очень давно, на рассвете, а потом еще снились много раз. И я снова забывал. Но я знаю ваш голос, ваши словечки, я помню ваш смех, я испугался сейчас, увидев сердитую морщинку на переносице – это уже было!

Я не удержалась и сказала глупость:

– Вы это всегда говорите, знакомясь в автобусе?

Он зажмурился, потом смущенно улыбнулся:

– Не надо так. Вы разрушаете память сна моего...

Я рассердилась – идиотизм какой-то! Выпивший человек без пальто, зима, вечер, бездонная затопленность пустынного Бибирева.

– Я ухожу! Мне надоело. И вы идите домой, вы простудитесь, сейчас очень холодно.

– Может быть, – кивнул он и пошел за мной.

– Куда вы идете? – спросила я через несколько шагов.

– К вам домой.

– Я иду не домой, я иду в гости!

– Еще лучше. Вы сразу поймете, что я лучше всех ваших старых знакомых...

Да, мой дорогой, ты был прав, ты лучше моих старых знакомых, лучше новых, лучше незнакомых. Для меня – лучше.

Какая в тебе нежность и сила! Когда ты любишь меня, когда тыходишь в меня, у тебя всегда закрыты глаза, ты весь во мне.

Ближе!

Ближе!

Возьми все, мой любимый!

Как тяжело ты прильнул ко мне, какая сила внутри меня от твоей мускулистой тяжести!

Теснее!

Крепче!

Крепче!

Какая радость!

Она бушует во мне и ревет.

Отнялись ноги. И руки не весят ничего.

Только твоя тяжесть на мой груди.

Ты щит на сердце моем.

Ах, как легко, как невесомо лечу я над миром!

Какая счастливая истома в спине!

Нечем дышать.

А впрочем – и не надо!

Я – двоякодышащая,
я дышу каждой порой. Каждой клеткой.
Сильнее,
Алеша!
Сильнее,
любимый!
Пусть будет тебе сладостно со мной —
мы прилепились друг к другу.
Мы стали одной плотью.

...А тогда, в Бибиреве, на улице, измученной зимой, стоял он без шапки, с бутылками в руках, и со смехом говорил, что незнакомых мужчин очень даже удобно приводить в гости. И шел со мной до дома, до подъезда, до самой двери, и, когда уже на лестничной клетке я пыталась прогнать его, страхась, что уйдет, он сказал мне:

– Я замерз и никуда не пойду... – и нажал кнопку звонка.

Прислушиваясь к гомону за дверью, я механически спросила:

– А где же ваше пальто?

Простучали в передней каблук, с железным чавканьем заелозил замок, но он успел ответить:

– У меня нет пальто. У меня была куртка. Как у папы Карло. Я поменял ее на шампанское.

Распахнулась дверь, в передней было полно людей, все они радостно, нетерпеливо заорали, и этот безумный сон продолжался – никто не удивился, что я вошла в дом из зимы, с улицы, с раздетым незнакомцем, все кричали:

– Быстрее, быстрее! Мы ждали! Садитесь...

– Алексей Епанчин...

– Очень приятно. А это вы пишете такие смешные рассказы в «Литературке»?

– Случается.

– Ой, как здорово! Девочки, помните, мы еще хохотали...

– Я вас сейчас не так рассмешу!

– Ула, ну что ты копаешься – как замороженная...

– Значит, вас зовут Ула...

– Где вас посадить, Ула?

– Слушай, Улка, а что же ты не говорила, что с ним знакома?

– Я с ним не знакома.

– Ха-ха-ха – ты всегда что-нибудь сказанешь.

– Эйнгольц, подвинься на диване.

– Ой, какое шампанское холодное, просто прелесть.

– Ула, я же вам говорил – вы женщина из моего утреннего сна...

Не беги так, время! Остановись! Продли мою невесомость и тяжесть чресел моих, полных тобой, Алеша.

Если бы так было всегда!

И кажется, не может быть счастья острее и светлее, и все-таки – наслаждение становится все больше.

И сильнее.

И подъем еще вершится, и туманное полузабытье, полное страсти и движения, воздымает меня все выше.

Не верится, будто такая радость может еще расти, и хочется рухнуть в беспомощность опустошенности.

Быстрее,

любимый,
быстрее!

...Как быстро пролетел тот вечер! Действительно – он был лучше моих старых знакомых. Как он веселился, шутил, произносил пышные грузинские тосты, рассказывал анекдоты с веселым легким матерком, вызывая восторг целомудренной интеллигентной компании.

А на меня не смотрел, не говорил со мной, просто не замечал, будто знакомство со мной ему понадобилось только для того, чтобы проникнуть в эту недостижимую для него компанию рядовых служащих, маленьких научных работников. Я начала тихо ненавидеть его. Пока он не подошел ко мне и строго не сказал:

- Собирайтесь, мы идем.
- Куда? – удивилась я.
- Домой. Я честно отработал номер.

Самое удивительное, что я безропотно встала и начала собираться. Господи, какое счастье, что я не стала с ним спорить, препираться, не послала его ко всем чертям!

Ветер вспурживал по земле низкие белые гребешки снега, ой, как было холодно! А он шел рядом, без пальто, без шапки, засунув ладони под мышки. Мелькнул зеленый фонарик такси. Я помахала рукой.

Он спросил со смехом:

- А у вас деньги-то есть? У меня – ни копейки!
- Садитесь, подкидыш, черт вас подери! – сердито сказала я. – Где вы живете?
- Это не имеет значения – мы едем к вам. Спать.

Он говорил не нахально, а несокрушимо твердо. И в его раздетости, в безденежье не было жалости, а звучало в его голосе уверенная радостная раскованность человека, доплывшего до берега с затонувшего корабля. Чего стесняться и о чем жалеть, коли под ногами снова твердь земная? И пока подтормаживало рядом с нами такси, я сказала ему, старательно скрывая необъяснимую внутреннюю дрожь:

- Я не собираюсь с вами спать.

А он очень крепко прижал меня к себе:

– И не надо. Пока – не надо. Счастье – не в тех женщинах, с кем хочешь спать, а в тех, с кем хочешь просыпаться. Их на земле единицы. И мне повезло – я встретил вас в автобусе...

Любимый мой,

мы —
наверху!

О-о, я больше не могу! Не могу! какая боль, какая радость! Судорога наслаждений,
пик восторженной муки,
вот оно, счастье соития!

Ты весь —

во мне,

я чувствую тебя под сердцем.

Не вздохнуть,

не шелохнуться,

все отнялось.

И трепет плоти —

последняя конвульсия,

как смерть зерна —

перед зачатием нового плода.

И дыхание твое – хрип, и тело твое бьется в моих объятиях, словно улетающая птица. И стон твой на пытке любви – как песня.

... Я до сих пор не могу понять, что произошло со мной в тот вечер – почему не прогнала его, не высадила где-то в центре из такси. Я привезла его домой, замерзшего, пьяного, счастливого, загнала в горячую ванну, а потом показала диванчик на кухне:

– Здесь вы будете спать. – А он молча мотал головой – нет, не буду.

И не стал. А спал со мной, и нам было прекрасно. Как сейчас. Как всегда, когда мы вместе.

Только под утро я задремала, а проснувшись, увидела, что его нет.

Его рядом со мной не было. И стало мне обидно и тревожно. Приподнялась на локте – на его подушке лежал исписанный неряшливым торопливым почерком лист. Я поднесла его к глазам, в неверном свете зимнего утра было не разобрать.

«Любимая! Не просыпайся без меня, не вставай. Скоро буду».

Куда это его понесло спозаранку? Я облегченно засмеялась и снова погрузилась в дремоту.

Без пальто и без шапки. Придурок.

А еще говорил, что хочет просыпаться со мной! Впрочем, он – проснулся, это я проспала...

Алешка лежал, не шелохнувшись, почти не дыша, отстраненный, отрешенный, очень далекий, совсем чужой.

Ах, как далеко нас разбросало во время стремительного падения с вершины счастья. Алешенька, ты ведь знаешь тысячи слов, ты ведь держишь их все в голове, как фокусник диковины в кармане. Придумай слово – имя любви. Она безымянна и от этого будто нема. Люди совестятся называть ее гадкими именами. И в ней самой появляется от этого гаденький тусклый налет.

Алеша, как хорошо, что ты настоящий мужчина, что ты знаешь сокровенную тайну любви, и от этого я чувствую, я знаю наверняка: тебе неведомо мерзкое слово «коитус», когда тыходишь ко мне. И ты не совокупаешься со мной, не гребешь меня, не трахаешь – ты познаешь меня.

... А тогда, утром, я проснулась вновь от трезвона дверного звонка, рвавшегося от злости и нетерпения. Накинула халат, выбежала в переднюю, распахнула дверь, огромный букет роз всплыл яростным взрывом света в сизый унылый сумрак, и на нем висел, как на летящем аэроплане, Алешка.

Без пальто и без шапки. С сизым от холода лицом. Смеющийся, легкий, пролетел он на своем волшебном букете в комнату, бросил его на стол, и рассыпавшиеся розы завалили его, их было так много, что они падали на пол...

Схватил меня в охапку, и озноб объял меня от холода его рук, от ледяного прикосновения его толстого свитера, и мы бросились на тахту – как в воду.

Он любил меня, не успев раздеться, весь трясущийся от стужи и возбуждения, но и тогда он был мне сладостен, он познавал меня.

– Где же ты взял такие цветы? – шептала я растерянно.

– Они росли на тротуаре около твоего дома. Я сорвал сто одну розу – на каждый год нашей жизни с тобой...

И началась моя странная жизнь с этим сумасшедшим, который менял пальто на шампанское, печатал в периодике нелепые – как бы смешные – рассказы, забившись в угол тахты,

читал мне по ночам свою удивительную фантасмагорическую прозу, отнимал мою зарплату на выпивку и покупал у кавказских спекулянтов букеты из сто одной розы.

Алешка заснул. Он спал, уткнувшись лицом в подушку, судорожно вцепившись в мою руку, тихонько постанывая и всхлипывая.

11. Алешка. Зуб буфетчицы Дуськи

Проснувшись, я подолгу смотрю в неподвижное лицо Улы и гадаю – спит или слушает себя? И томят меня нежность, удивление, отчаяние.

Я никогда не знаю – останешься ли ты со мной до вечера.

Редеют сумерки, и в сгустившемся свете видно, что лицо твое стало беззащитно-детским, как у вифлеемских младенцев перед избиением. И тогда ревет во мне их голосами тоска – тоска по нашим детям, которым не суждено родиться никогда – ибо бессмысленно и жестоко плодить нищих алкоголиков и истеричек.

А ведь наверняка Ула мечтала иметь ребенка. Детей. Много.

Даже этого я ей не дал...

Спи, моя любимая. Ты – моя судьба. Ты – мое всегдашнее ощущение зыбкости этой жизни, ты мое постоянное искушение и вечный укор. Ты – моя единственная надежда на новую, иную жизнь.

Я неудобно лежал на одном боку, боясь разбудить Улу, слушал ее тихое дыхание, и в слабом свете занимающегося утра рассматривал ее лицо, и мое сердце сжималось от нежности и испуга. И меня все время раздражала ветка шиповника в стеклянной банке на столе. Толстые набухшие цветы, как треснутые помидоры.

Я высвободил потихоньку руку из-под шеи Улы, сполз с тахты, на цыпочках подошел к столу и вытащил ветку из банки. Уколол руку, холодные капли с нее падали на мой голый живот.

Высунулся из окна и кинул ветку вниз. Она падала почти отвесно, тяжело, и только отдельные лепестки с перезрелых цветов отрывались на лету и медленными красноватыми каплями кружились в воздухе.

Глухо, как тряпка, с мокрым шлепком шмякнулась на асфальт. И казалась сверху просто грязным черным пятном на сером асфальте.

Прочь от воспоминаний! Прощай, память. Сладких тебе сновидений. Ула, я должен ехать. Долгое утро, медленные сборы. Сегодня – воскресный обед у моих стариков, обязательный, скучный, последний узкий мостик в семью, когда-то сплоченную, как кулак в ударе, а ныне растопырившуюся слабой пригоршней попрошайки у судьбы.

Неслышно притворил за собой дверь, еле слышно цокнул замок, я спустился на один этаж и оттуда вызвал лифт – я не хочу, чтобы тебя, Ула, разбудила гремящая коробка лифта, я берегу твой покой, Ула. Я берегу твой покой и боюсь грохочущего тормоза лифта, я боюсь кричащих во мне воспоминаний.

Боже, какой тяжкий дал ты нам крест – нашу память!

Качается кабина в темной шахте, гудят тонкие стенки, визжат над головой тросы – я стою в пластмассовой коробке, подогнув немного колени, упершись изо всех сил руками в дверь. Я уверен, что умру в оборвавшейся кабине лифта. Лопнет последняя нитка давно перетертого троса, и полетит вниз моя хрупкая скорлупка с воем и железным скрежетом, преследуемая чугунной чушкой противовеса.

Дурацкая фантазия! Этого не может быть. Тросы проверяют в первую очередь. Но все стали так плохо работать.

Растворяются двери, и я сразу же забываю о своем страхе. Пока снова не войду в лифт. Мы входим в свои воспоминания, как в лифт – ап! – захлопнулись дверцы, нажимайте кнопки лиц, времен, событий – поехали.

Я сел в незапертую машину и удивился, что за ночь ее всю не разворовали. Завел мотор, из ящика достал пачку мятых сигарет и с удовольствием, со вкусом жадно затянулся. Слушал гул прогреваемого мотора – чвакали и стучали разбитые поршни в изношенных цилиндрах,

пронзительно свиристела помпа, маячили перед глазами раскачивающиеся стрелки приборов. Курил и думал о себе, и мысли эти были мне противны. Ибо со мной случилась беда – и виновата в ней тоже была Ула.

Я стал раздумывать в последнее время о смысле жизни. А это худшее, что может случиться у нас с человеком, поскольку с этого момента над ним начнет дымиться серый нимб обреченности.

Докурил, включил первую скорость и поехал тихонько со двора. У ворот остановился, отворил дверцу и посмотрел наверх – Ула стояла на балконе. Я высунулся и заорал: «Вечером приеду!» – и она помахала рукой.

Сейчас надо обязательно выпить. Я автоматически вырубивал в направлении Садовой и медленно соображал, где можно в такую рань, да еще в выходной день хлебнуть стакан-другой.

Те, кто задумался о смысле жизни, наверное, умирают в такие часы. Когда выпьешь – оно все-таки легче. А вообще-то – не факт.

Генка Шпаликов повесился в Переделкине на рассвете. На столе – полбутылки бормотухи, надкусанное яблоко и раскрытый том Флобера. Почему Флобера? Непонятно.

А Голубцов выстрелил в себя из охотничьего ружья вечером, часов в десять, магазины были закрыты, да и денег не было.

Манана Андронникова, безумная, отчаявшаяся, выбросилась ночью из окна и повисла, пронзенная насквозь флажштоком праздничного украшения в честь Международного женского дня.

И Юлик Файбишенко, талантливый беспутный босяк, весельчак и пьяница, удавился на своем ремне – в лесопосадке у железной дороги под Донецком. Я читал заключение – «...в полосе отчуждения железной дороги...». Как ты попал в полосу отчуждения под Донецком? Что ты там делал? Почему ты именно там понял, что никакого смысла нет, что все мы вялые похмельные ханурики? Ничего не разобрать – все сумеречно и мутно, как наши замусоренные искривленные души.

Я не хочу умирать. Я утратил вкус к жизни, но я еще не потерял надежду. У меня есть Ула, – может быть, что-то еще случится, может быть, она выведет меня из этой мглы и потери самого себя.

Ох, Господи, как мне тяжело! Только выпивка ненадолго освобождает от этого страшного сумасшедшего напряжения. Надо быстрее выпить!

Быстрее! Быстрее! Правильнее было бы остановиться и подумать – куда вернее податься в это безвременье, но во мне уже все бушевало, кричали пронзительными голосами внутренности – дайте выпить! Мне надо выпить!

Сердце билось редко, тяжело, с густым протяжным всхлипом.

Володька Вейцлер умер в воскресенье утром – негде было опохмелиться.

А у Олежки Куваева остановилось сердце за несколько часов до свадьбы – посовестился в доме у невесты попросить стакан водки.

Всем им не было сорока, и уже давно пришла мука – неразрешимый вопрос о смысле жизни. Нигде, как в России, нет столько писателей – тяжело пьющих людей, безнадежно убивающихся совестью.

Беда в том, что сейчас всерьез разговаривать о смысле жизни стало смешно. Почти неприлично.

Большинство людей вообще пробегают через жизнь, не успев задуматься о такой ерунде, как ее смысл. Загнаны, озабочены, замучены, утомлены пустяковыми неприятностями. Целый день голодны, а вечером слишком сыты.

Быстрее! Быстрее! Как хорошо, что по утрам в воскресенье так мало машин, так мало пешеходов.

Стоп! Стоп! Направо! В первый ряд! Вспомнил! «Моська» с визгом вынес меня на Новослободскую – прямо на Савеловский вокзал. Если в буфете дежурит Дуська, у нее найдется и выпить.

Они работают сутками. Сутки торгуют, двое отдыхают. Тридцать три процента вероятности. Если она выходная, поеду на аэровокзал, там в ресторане у швейцара Коломянкина всегда есть водка по двойной цене.

Подогнал машину к кассовому залу – оттуда ближе к буфету, – выключил мотор, и «моська» еще судорожно подергался и забулькал, его сотрясал азарт детонации, он разделял мое состояние, у него, наверное, тоже абстиненция. Я уверен, что мы передаем своим машинам свою судьбу, свой характер. Старея вместе с нами, они, как жены, становятся похожими на нас внешне.

Пробежал по лестнице, через две ступеньки, ворвался в буфет, рысью ударил к стойке – над ней возвышалась раскаленным идолом Аку-Аку подруга моя Дуська, разлюбезная моя воровка, дорогая моя спекулянтка, родненькая моя несокрушимая вымогательница – проклятая ты наша спасительница, мерзкая наша надежда, отвратительная утешительница моя. Гора неряшливо слепленных окороков, бесшумно и ловко снует она за прилавком, взвешивает, наливает, выдает, принимает, негромко и зло командует двумя подсобными девками-чернавками, проходящими у нее трудную науку украсть с каждого завеса, недолива в каждый стакан, обсчета пьяных, всучивания тухлятины, сбавливания «левака». Громадная, как всплывший утопленник, она не знает удержу и усталости в воровстве, страха перед милицией и жалости к своим пропившимся должникам.

Она сухо кивнула мне и показала глазами на дверь подсобки, я нырнул в заставленную ящиками и коробками клеть, и она вышла мне навстречу из-за шторки:

- Ну?
- стакан.
- Два рубля.

Она наливала водку, томя меня дополнительными секундами ожидания, сначала в мензурку – наверное, для того, чтобы точнее самой знать, сколько недолила. И отодвинула меня от тарированной стекляшки подальше своим рыхлым огромным плечом, и на лице не было черточки человеческой – только губы еле шевелились.

Ап! А-ах! Ой-ой-ой! Пошла по горлышку, покатила. Полыхнуло пламя, задохся. И тишина.

Открыл глаза – смотрит на меня Дуська равнодушно, оценивающе – на сколько еще стаканов располагаю.

Я только один раз видел на ее красномясом лице человеческое выражение – гримасу страдания. У нее чудовищно болел коренной зуб. Но смениться и пойти к врачу она не хотела ни за что – пропал бы весь профит за смену. Она страдала, но, как настоящий боец, погибая от боли, свой боевой пост не покидала. Я был в тот момент как сейчас – на первом веселом кайфе, когда все легко, никого не жалко и душа закипает жестоким озорством. Я сказал ей:

- Давай вырву зуб. И все пройдет...

Окинула меня оценивающим взглядом:

- А умеешь?
- Чего тут уметь...
- Чем рвать будешь? – деловито спросила Дуська.

– Пломбиром, – кивнул я на никелированные толстые клещи, которыми она опечатывала буфет.

Она твердо уселась на ящик с консервами «Сайра», широко расставив свои окорока, мрачно приказала:

- Давай, чего там...

Мы боролись, как античные герои. Я засунул ей руку в пасть, упираясь локтями в наливные зельцы толстенных грудей, она мычала и басом взревела, когда я накладывал, умащиваясь поудобнее, пломбирочные клещи на ее желтый бивень, там что-то хрустело и пронзительно трещало, она сжимала меня, как в оргазме своими пылающими мягкими ляжками, страшными ручищами вцепилась в мои ягодицы и выла жутким нутряным стоном, а я раскачивал клещами зубище, ломая, к чертям, ее десну, и руки мои заливала ее густая, как пена, слюна и горяченькие жиденькие слезы, она хрипло дышала, я чувствовал в этой извращенческой близости с ней трепыхание ее несокрушимого сердца злого животного и входил в еще больший садистский азарт – так, наверное, убивают.

Сжал изо всех сил клещи и рванул на себя – хрясть! И сам испугался грохота, с которым вылетел зуб, будто сосновую доску переломили.

Огромный зуб, на четырех корнях-ножках, как у пожилого мерина. Он был размером с мой мизинец. В ошметках мяса.

Оцепенело смотрела на меня Дуська, сплевывая время от времени на пол сгустки крови. Я положил зуб в спичечную коробку и сказал:

– Зуб я возьму себе...

Не открывая рта, полного крови, она покачала головой и показала мне кукиш величиной с грушу.

– Я тебе за него рубль дам, – предложил я.

Она подумала немного, утвердительно кивнула.

Я зуб берегу. В нем есть страшное значение. Однажды он из символа, отвратительного талисмана, станет реальностью...

– Еще выпьешь? – спросила Дуська.

Хотелось. Уже было хорошо, прекрасно было бы добавить. Но мне надо сегодня к старикам. Нельзя приходить пьяным до начала игры.

– Нет, я пойду.

– Иди. – И выпихнула меня за дверь.

«Моська» стоял у тротуара замурзанный, серенький, будто дремал. Я пнул его ногой в колесо – поедем? Капот мотора был еще теплый.

Уселся за руль, достал из тюбика таблетку валидола, пососал не спеша – не от сердца, а чтобы сбить маленько водочный запах. Поедем, пожалуй. Хорошо бы «моську» вымыть. В условиях нашего неназойливого сервиса уйдет на это часа два. А! Так обойдемся!

Завел мотор и покатил в центр. Оттуда на Ленинский проспект, на Профсоюзную, в Зюзино. По пустым улицам летнего, пустого, словно вымершего города, я катал самого себя, свое одиночество, свои грустные копеечные размышления.

Это было приятное, необременительное одиночество, почти покой – когда спирт в твоей крови убил адреналин, наступил недолгий химический баланс. Мозг ясен, мысль легка, и нет мучительного бремени уставшего тела, нет волнующего присутствия Улы и нет взвинчивающего разгона нарастающей пьянки, не надо выламываться перед приятелями и нет повода взъяриться на коллег-идиотов, не вызывает ненависти начальство, и невозможно заплакать из-за тупости родителей.

Я ехал по необитаемым улицам городской пустыни, где дома были неотличимы, как барханы, и замурованы, как термитники, и твердо знал, что людей там нет – их всех увел за собой волшебной дудочкой бродячий крысолов.

Зачем поверили? Теперь не вернетесь никогда.

Как мне было покойно и хорошо – какие я придумывал книги! И без сожаления их сразу забывал. Маленькая кабина «моськи» была полна голосов – отчетливо звучали и навсегда отлетали, растворившись в шорохе колес, диалоги выдуманных людей, удивительно живых, настоящих, ярких! Одним подрагиванием ресницы я стирал их внешность, и они исчезали, будто в

клубах дыма, и выскакивали из этих волшебных кулис уже преображенные, и характер у них был другой, и говорили они другими голосами совсем иные вещи.

У них были прекрасные идеи, и выражали они их с элегантно лаконичностью.

Мне это было так легко! Почему же так трудно все это начирикать перышком на бумаге?

Ах, какие божественные драматургические повороты! Какие сказочные рывки сюжета!

Эй, люди, куда же вы? Зачем вы все послушно бредете за унылым крысоловом? Вы ведь больше не вернетесь! Не слушают. Не хотят слушать. Они все – придуманные и живые – хотят верить дудочке крысолова.

Ну и черт с вами! Поеду дальше, придумаю других. Придумаю и вспомню.

Если хорошенько припомнить, то ничего и придумывать не надо – со мной уже было все.

Но сейчас не хочется вспоминать, потому что почти любое воспоминание окрашено черно-желтым цветом горечи.

Сейчас лучше придумывать. Катится «моська» по безлюдным улицам, катится стрелкой по циферблату, теплый толстый ветер вваливается в открытое окно – он пахнет травой и пылью, хрипло мурлычит приемник, не заглушая голосов набившейся в машину компании. Пора разворачиваться, ехать к старикам на обед, и еще на полпути вся компашка незаметно выскочит на ходу – по одному, не прощаясь. Навсегда.

12. Ула. Мой мир

Ходить в магазин воскресным летним утром – самое милое дело. По мне, во всяком случае. Продуктов, правда, почти нет. Но покупателей немного. Все отоварились за пятницу и субботу.

По пятницам с половины дня служащие бегут из своих бесчисленных учреждений – министерств, комитетов, управлений, бюро, контор, дирекций, институтов, секторов, отделов, подотделов, групп, отделений и советов – и бурным потоком врываются в магазины, заполненные бесчисленными провинциалами, крестьянами – ударниками полей, прочим городским людом, добывающим на уик-энд колбаски, масла, кусок мяса, а в случае особого везения – импортную курицу, поскольку отечественная птица превратилась в такой же реликт, как птеродактиль.

Горожане набирают еду авоськами, командированные – чемоданами. Крестьяне, наши кормильцы, нагружаются мешками. Ничего не попишешь – кушать всем хочется.

Странно, однако. Крестьяне ездят в город за мясом и маслом, горожан тысячами посылают работать в колхозы. И те и другие недовольны.

Нигде люди так не разобщены в своей тошнотворной сомкнутости, как в очереди за вареной колбасой. Нигде так люди не проникнуты злобой, как в этой многочисленной извивающейся змее, каждый сустав которой ненавидит предыдущий и мертво равнодушен к последующему. Бесконечная гидра никогда не становится короче, и сколько бы людей ни отваливалось от прилавка, она растет с хвоста, матеря от злости и надежды урвать хоть полкило варенькой. Вьются без края, изгибаются, заполняя своими кольцами магазин, змеи очередей, неспешно переваривая в себе все доброе, милосердное, человеческое.

Чем ближе к продавцу, к голове очереди, тем злее, безжалостнее, остервенелее становится змея. Ее позвонки срстаются намертво, между ними нож не просунешь, они тяжело дышат друг другу в затылок, острый пот капает на соседей, тычат в нос лохматыми подмышками и острыми локтями, их зубы сомкнуты, а глаза устремлены на прилавок – хватит ли на их долю?

Бессмысленно просить, чтобы тебя пропустили без очереди. Можешь рассказывать, что дома у тебя больная мать, а на улице двое маленьких ребятишек, что тебе нужно всего двести граммов, что у тебя улетает самолет или начался диабетический приступ. Десятиглавая гидра лишь на миг обернется к тебе, чтобы выбросить в ругательстве десять быстрых жалящих языков, щелкнуть желтыми клыками, и отвернется к прилавку, сомкнувшись еще теснее.

Люди навсегда поссорились в очередях.

Городские кричат крестьянам: «Паразиты, обжиралы проклятые, из-за вас в магазин не войти! Мешками грабите!»

Крестьяне в долгу не остаются: «Захребетники проклятые! Нешто вы этот хлеб да мясо растили? Мы вас кормим, а нам бы хоть мясного духа нюхнуть когда!»

И те и другие стараются выпихнуть из очереди командировочных провинциалов. Те отбиваются: «Вас бы к нам переселить! Узнали бы про жизнь счастливую!»

Старухи кричат молодым, старающимся занять очереди одновременно и за колбасой, и за маслом, и в кассу: «Что же вы, заразы, все ловчите, везде наперед поспевааете! А нам тут хоть до ночи стой!»

А те отвечают им с пеной у рта: «Карги проклятушие! Пенсионерки, мать вашу! Что же вы днем, пока мы на работе, по магазинам не ходите? Что вас нечистая сила вечером волокет, когда нам взять что-нибудь надо?»

Сивый от старости дед тычется в очередь, как потерянный щенок, – он занял место и отошел посидеть на ящике, да забыл, за кем занял, и теперь старается в склизкой от пота, жарко

дышащей змее найти свой сустав. А змея молчит. Молчит каменно, ни одной трещинки не найти в этой стене, и он скулит, уже утратив надежду: «Доченьки, родненькие, я же тут стоял, вот за бабой в зеленом, за мной еще стояла девчонка с мальцом. Где же они?»

«Нечего уходить было! Так все на шармака полезть могут – мы здесь занимали!»

А тут татарка впустила не то родственницу, не то подругу, и о дедке попросту забыли, его печаль щепкой унесла волна вспыхнувшей ярости: «Ах вы, жулье соленое! Татарва противная! Спекулянты! Гадюки! Ворье! Вам бы только русского человека нажарить! Кит манан кая барасам! Сволочи!»

Татарки зло хохочут, остро скалят золотые зубы: «Ваша все – пьяницы! Дураки! Рука уברי! Отрежу!»

Татарок боятся, поэтому сразу набрасываются на унылого мужчину в галстук, шляпе, в очках, вежливо просящего продавца нарезать колбасу: «Нарезать ему! А сам – руки отсохнут? Машка, ты ему отрежь его... Шляпу надел, теллигент хренов! Дай ему по окулярам!..»

Человек растерянно моргает: «Товарищи, я вас не понимаю! Я вас не понимаю, товарищи...»

В упоении очередь ревет: «Гусь свинье не товарищ...»

Люди навсегда поссорились в очередях.

Нет, они не хуже других – американцев, немцев или французов. Но они бедные.

История нашей жизни – это драма непреодолимой бедности...

И размышлять обо всем этом по дороге из магазина домой мне легко, потому что я богата – умудрилась купить не только кусок мяса, крупы и овощей, но и сорвала кило молочных сосисок – при мне выкинули.

– Ты чего улыбаешься? – спросил меня Эйнгольц. Он сидел на скамейке у ворот моего дома. – Приглашаешь в гости, а сама...

– Не сердись. – Я поцеловала его в пухлую щеку. – Задержалась, зато вот, сосисок достала. Пока от магазина шла, человек десять спросили – «где сосисочки брали?»...

Я нарезала мясо ровными кубиками и сказала Эйнгольцу:

– Мы с тобой сегодня будем есть настоящее еврейское жаркое! С подливкой, с коричневой картошкой!

Эйнгольц развеселился:

– Это прекрасно! А то у меня завтра пост начинается – четыре недели без мяса.

– Шурик, а ты строго соблюдаешь посты? – удивилась я.

– Конечно! Мне, как сознательному христианину, негоже ловчить и давать себе поблажки. Да это и не тяжело, Ула. Если в охотку делать – не трудно совсем...

Ровными длинными спиралями скручивается кожа и падает в мойку. Неужели он действительно верит в распятого Мессию? Или это маска? Очень сложная, двойная маска, обращенная в первую очередь вовнутрь. Ах, каких только масок не напридумывало наше время! А может быть – действительно верит? Но почему в Христа? Разве может еврей поверить, будто Мессия, посланец нашего Бога, уже приходил?

– Шурик, ведь ты же еврей, – сказала я почти жалобно.

Эйнгольц усмехнулся:

– Во-первых, только наполовину. Мой отец русский. А кроме того, человеческая сущность Страстотерпца была еврейской. Но я убежден, что евреи, не признав Иисуса своим избавителем, проскочили свой поворот к истине, как заблудившийся человек в лабиринте теряет дорогу к спасению...

Я вывалила поджарившееся мясо из сковородки в чугунок – пускай томится, а сама уселась напротив Эйнгольца, не спеша закурила.

Несколько раз Шурик делал мне предложение – легко, без нажима, почти шутя, и я, смертельно боясь потерять его – лучшего, единственного своего друга, изо всех сил мягко,

просто ласково, с веселым добрым смешком, полунамеками отклоняла их. Шурик – прекрасный человек, но я себе не могу представить его мужем. Это было бы ужасно. Мы дружно и спокойно прожили бы с ним какое-то время – чуть меньше, чуть дольше, – отшелушились бы и отпали пустяки и всплыло бы неизбежно главное, для меня совершенно невыносимое. Отсутствие внутреннего слуха, глухота души, неведение нашей богоизбранности, беспамятство и необязанность служения нашему Обету.

Он не знает, он не помнит, откуда мы пришли. И зачем.

А Алешка?

Я оправдываю себя тем, что и он не станет моим мужем.

Но он ведь и не мог знать того, что было заложено в генетическую память предков Шурика! И еще одно – может быть, я это придумала, но я верю, что Алешкина душа способна к возрождению. Боже, как я верю, что он может стать гораздо больше себя.

– Ула, а во что ты веришь? – смотрел на меня в упор Эйнгольц.

– Во что я верю? – медленно переспросила я.

Дорогой мой Шурик, безвинный мешумед, еще один кусочек тверди, сползший в окружающий нас океан. Ты, наверное, со мной не согласишься, мне не убедить тебя. Ты ведь все знаешь, ты все читал, обо всем передумал, а про Завет не мог вспомнить. В чужом тебе мире ты нашел ответ в христианстве, но и этот протест был конформистским.

Меня заставил так думать Эйнгольц, его приятели-евреи, принявшие христианство. В долгих разговорах они доказывают мне, что этика христианства и христианская евхаристия выше иудаистской.

Я с ним не спорю. Я думаю, человек не может прийти к вере через дискуссию. Искренняя вера – озарение, это саморазвивающийся талант, это культура постижения истины и смысла твоей жизни.

И я говорю без надежды, что он поймет меня:

– Я верю в бессмертие праведных душ. Я верю в будущий рай.

– А в ад? – спрашивает с легкой усмешкой Эйнгольц.

– А в ад я не верю. Ада нет. Ад – это смерть, конечность существования, отказ в бессмертии. Ад – это забвение.

– А кто решит твою судьбу? Кто оценит праведность?

– Наши судьбы решаются каждый день. Нашим Богом, высшим разумом, приславшим нас сюда. Умершие праведники попадают в рай. Праведность – это мудрость и доброта, они не могут здесь исчезнуть с нашей плотью. Они нужны там...

– Но здесь они еще нужней?

– Как знать! Бог посылает новых...

Шурик медленно проговорил:

– У апостола Павла сказано: «Любовь долго терпит, милосердствует, любовь не завидует, не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине; все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит – любовь никогда не перестает, хотя и пророчества прекратятся, и языки умолкнут, и знание упразднится».

Наклонила я голову:

– Ты говоришь. Я верую.

– А как ты вернешься к себе? – с участием спросил Шурик.

– Не знаю. Этого никто не знает из живущих. Может быть, это вроде телепортации.

Эйнгольц развел руками:

– Ну-ну-ну, Ула! Это уже разговор не из теологии, а из научной фантастики...

– Почему? Если бы Александру Вольта показали цветной телевизор, он бы сошел с ума.

А мы смотрим футбол из Аргентины – ничего?

– Естественный технический прогресс!

– Нет, мне не кажется этот процесс естественным. Ты никогда не задумывался над очень странной вещью: люди высадились на Луну, а про себя не знают ничего! Что такое наше мышление? Что такое память? Что наши сны? Что такое наша биология вообще? Ничего не известно...

– Когда Адам вкусил с древа познания, Господь изгнал его из Эдема, и тайна древа жизни сохранилась навсегда...

13. Алешка. Семейный обед

Я вошел в подъезд отчего дома на Садово-Триумфальной, кошмарного сооружения с портиками, лепниной, немислимыми эркерами, висящими с крыши колоннами, облицованного гранитом, регулярно рушащимися фризами – один из шедевров расцвета сталинского архитектурного стиля «вампир». После войны этот дом, один из самых больших в Москве, имел собственное имя – «дом МГБ на Маяковской».

Ни в одной футбольной команде не менялся так состав игроков, как обновлялись жильцы нашего дома. Они въезжали сюда на трофейных «опелях» и «мерседесах», солдаты тащили за ними караваны трофейного добра, жены успевали посоревноваться шубами, раскатывали на персональных ЗИМах и ЗИСах, шумно пили, дрались, пока однажды ночью – довольно скоро – ответственного квартиросъемщика не увозили навсегда в неприметной «победе». Оставшиеся семьи выселяли совсем, иногда их просторные квартиры превращали в коммуналки, подселая к ним родственников бывших хозяев жизни.

Их сажали поодиночке, иногда этажами, порой целыми подъездами – это зависело от подъема или спада очередной волны репрессий. Никто в доме не сомневался в их виновности, хотя я убежден, что ни одного из них не арестовали за действительно совершенные ими бесчисленные преступления, – просто машина насилия время от времени требовала – для собственной надежности – смазки кровью. Они уже давно были не людьми, а деталями этого громадного механизма насилия и истязаний, у которого было пугающе-бессмысленное название – ОРГАНЫ, и высшая цель – вселение неиссякающего, неизбывного, неистребимого, всеобъемлющего ужаса в душу каждого отдельного человека. И чтобы эта машина не знала ни при каких обстоятельствах осечек, сбоев и неполадок, чтобы она стала абсолютной – ее детали своевременно и досрочно заменялись другими.

Смертию жизнь поправ.

Особенно крепко сажали из этого дома в сорок девятом, пятьдесят первом, пятьдесят третьем. По ночам во всем доме не светило ни одного окошечка, хотя не спали нигде, сторожко прислушиваясь к шуму затормозившего во дворе автомобиля, стуку парадных дверей, гудению лифтов.

Я помнил, как отец регулярно вырезал маникюрными ножницами странички из своей телефонной книжки. Ночью, когда я бежал пописать, я видел мать в бигуди и толстом капоте, неподвижно замершую в передней. Теперь уж я и не помню – дожидалась ли она отца с работы или ждала страшных гостей.

Однажды – это я хорошо запомнил, – когда арестовали полковника Рюмина, нашего соседа и организатора дела врачей-убийц, отец приехал с работы утром, с бледным жеваным лицом и бодрящим голосом сказал матери:

– Да не тревожься ты! Нам нечего бояться – у меня совесть чиста...

А мать в ответ заплакала.

Штука в том, что у всех, кого забирали из нашего дома, совесть была чиста. Потому что совесть давно стала понятием чисто разговорным и была твердо и навсегда заменена словом «долг».

А первая заповедь долга – забыть о совести, чести и милосердии.

Существовала только беззаветная преданность величайшему вождю всех народов Иосифу Виссарионовичу Сталину – за это выдавалась индульгенция авансом – на совершение любых злодеяний. И видит Бог – за это с них никогда не требовали ответа.

В отчаянии и душевной тоске, при совершенно чистой совести они с ужасом слушали обвинения в каких-то мифических, никогда ими не совершенных предательствах, нигде не существовавших заговорах и пособничестве никем не завербованным шпионам. Их обвиняли

вчерашние коллеги, с такой же чистой совестью, с беззаветной преданностью выполнявшие служебный долг по профилактическому обслуживанию и ремонту великой машины устрашения, ни на миг не задумываясь о том, что вскоре бесовское сооружение потребует их собственной жизни, ибо, обменяв совесть на долг, они объявили дьявола своим Богом и включились в неостановимый цикл индустрии человекоубийства, признающей единственную энергию – тепло живой человеческой крови.

Смертию жизнь поправ. А-а! Все пустое! Не о чем говорить...

После пятьдесят третьего никого в нашем доме не арестовали, словно хотели еще раз подчеркнуть, напомнить, затвердить – отсюда забрали только людей с чистой совестью, таковы уж прихоти культа личности – пострадали только свои!

Никого не забрали после Двадцатого съезда, никого не пригребли во время реабилитаций, ни о ком не вспомнили, когда выкинули кровавого Иоську из мавзолея. Давным-давно выданная индульгенция сохранила силу – за действительные злодеяния спрашивать не с кого, не о чем и некому.

Всех увел унылый крысолов...

Вспоминая об этом, я легче пережил страх поездки в лифте, тем более что мне почему-то не так страшно сорваться в утлой кабинке, когда она ползет вверх, а не стремительно проваливается в тесном стволе шахты к центру земли.

Захлопнув бронированную дверь лифта, огляделся на огромной лестничной клетке. Двери шести квартир. Господи, каких шесть романов пропадают в сумраке и тишине подъезда! Ведь вся литература, возникшая после того, как подох Иоська Кровавый, поведала только о жертвах этого мира кошмаров. Ни у кого не оказалось сил, знания или возможности написать о тех, кто этот мир построил и запустил в работу. А ведь они – истязатели и мученики – нерасторжимое двуединство нашей жизни, нельзя понять нашего существования, не зная лиц мучителей, радостно подрядившихся за харчи, хромовые сапоги и призрачную власть пролить море людской крови.

И я не могу. Тошнота подкатывается к горлу, выступает обморочная испарина и трясутся руки, когда я думаю об этом. Мне очень страшно, я хочу забыть то, что я знаю о них. Я хочу бежать сломя голову за дудочкой крысолова...

– Что ты растрезвонился как ошпаренный? – заслоняя дверной проем квадратными плечищами, улыбался Гайдуков.

– Задумался.

– Поменьше думай, здоровее будешь! – радостно загоготал жеребец, вталкивая меня за руку в прихожую.

– Это по тебе заметно, – искренне сказал я.

– Ну тебя к черту, – благодушно отмахнулся Гайдуков. – Хочешь хороший анекдот? Вопрос на парткомиссии: «Что такое демократический централизм?» А он отвечает: «Когда на партсобрании все „за!“, а разойдясь по домам, все – „против!“».

Я засмеялся, а Гайдуков уже волок меня в столовую – «давай выпьем пока».

Андрей Гайдуков – муж моей сестры Вилены, он появился много лет назад в нашем доме, еще угловатый, застенчивый, и поразил меня неожиданной сенсацией: «Вот ты, Алешка, все время читаешь, думаешь о чем-то. А я тебе – как старший – скажу, что это глупость». «Почему?» – удивился я. «Потому что в жизни важно иметь хорошее здоровье и много денег. Все остальное – чепуха!»

Гайдуков – второсортный спортсмен, из тех, что лучше всего играют без соперников, где-то долго и сложно химичил, пока не вынырнул в Центральном бассейне. Директором. И тогда он выполнил свою жизненную программу, приложив к своему хорошему здоровью много денег. Как он их выцеживает из мутной воды бассейна, я не представляю, но денег у него всегда много, а пуще этих денег – неслыханные связи, знакомства и блаты. Антон ходит к Гайдукову

попариться в бане и говорит загадочно и многозначительно, что эта сауна для ловкого человека – почище любого Эльдорадо...

– А где старики-то? – спросил я.

– Мамаша сейчас с кухни подгробет, пряженцы печет. А папаша пошел за папиросами – он ведь у нас паренек старой закалки, сигареты не уважает. Ну, оцени, как хлеб-соль организовали?

Я посмотрел на стол – зрелище было впечатляющее. Черной и красной смальтой застыли блюда с икрой, серебрился в траве толстоспинный залом, крабы на круглом блюде рассыпались красно-белыми польскими флажками, пироги с загорелыми боками, помидоры, мясо...

– Селедка – иваси? – поинтересовался я, наливая еще рюмку.

– И-ва-си!.. – протянул презрительно Гайдуков. – Лапоть ты! Это сосьвинская селедочка, раньше царям подавали...

– Вы, жулики, и есть цари нынешней жизни, – заметил я без злости и быстро выпил. И сразу полегчало, тепло живое растеклось по всему телу. А тут и маманя выплыла в столовую, неся большой поднос с драченами – желтыми, прозрачными, кружевными, из крупчатки белейшей, на яйцах, на свежей сметане, залитыми русским маслом.

Я поцеловал ее в щеку, а она сердито поморщилась:

– С утра налузгался?

– Да по одной с Андреем пропустили...

– А то я не знаю, какая у тебя первая, а какая пятая! Прямо несчастье – терпежу нет за стол сесть, как у людей водится!

– Да бросьте нудить, мамаша, – вмешался Андрей, – сегодня же праздник...

– Какой праздник? – удивился я.

– Праздник Вознесения – святой престольный день, – заржал жеребец. – Нам бы только повод!

А тут и отец поднадошел. «Здравствуй!» – кивнул он мне сухо, сел в углу в низкое кресло, развернул газету «Правда» и закурил папиросу. И отключился.

Мать отправилась дохлопывать на кухню. Гайдуков любовно переставлял что-то на столе, а я сидел и внимательно рассматривал отца. Он до сих пор красивый. Печенег, одетый в старомодный двубортный костюм. Он читал газетную полосу, а круглые его серо-зеленые глаза были совершенно неподвижны. Будто спал, не смежив век. Но он не спал – я хорошо знаю эти страшные круглые глаза.

Я боюсь отца до сих пор.

Давнишний его адъютант, хитрожопый бандит Автандил Лежава, множество лет назад рассказывал с хохотом и с восторгом о том, как отец допрашивал какого-то ни в чем не признающегося епископа из Каунаса. Он не задавал ему вопросов, не кричал на него, не бил – он два с половиной часа не отрываясь смотрел тому в глаза, и епископ не выдержал напряжения – лопнул какой-то сосуд и залило глаза кровью. Все смеялись...

Мне часто видится в кошмарах каунасский епископ. Бледное расплывающееся лицо без отдельных черт, приклеенное к огромным белесым глазам, залитым кровью, и все мертво, кроме ртутно-подвижной крови, переливающейся мерцающими лужицами в затопленных ужасом белках...

От этого ли давнего рассказа из моего детства или от чего другого, но я не могу смотреть людям в глаза, я испытываю почти физическую боль, когда чей-то взгляд упирается в мои зрачки, и спасительные шторы век отгораживают от чужого участия, интереса, насилия. От взгляда епископа.

У меня глаза как у отца. Нам страшно и неохотно смотреть друг другу в лицо.

Пронзительно затрещал звонок у входа, и Гайдуков из коридора заорал:

– Сейчас! Сейчас открою! – протопал тяжело кожаными подковами по паркету.

Шум, смех, треск поцелуев, как шлепки по заднице, рокот Антошкиного голоса, благопристойный подвизг его жены Ирки, Антошкин вопрос: «Слышал новый анекдот?» – снова хохот, их громкое дыхание, навал толпы по коридору, нераспрямляемые морщины отца, ввалились в столовую. Антошке отец подставляет для поцелуя гладкую коричневую щеку, похожую на ношенный ботинок, а Ирке сухо протягивает руку. Антошка крепко обнимает меня, хлопает по плечам, заглядывает участливо в лицо, и я спрашиваю его тихонько: «Деньги достал для Гнездилова?» А он конфузливо прячет глаза, быстро бормочет: «Все в порядке, достали, потом расскажу», да я и сам вижу – все в порядке, коли Ирка так весело заливается, истерический накал гаснет, и Антошка снова твердый, в себе уверенный. Когда мне в лицо не смотрит.

У нас умеет смотреть в глаза только наш папка.

Да я ведь еще вчера понял, что Левка Красный нашел вариант. И слава богу – меня это не касается. Отбили своего засранца от тюрьмы, а нас от позора, и ладушки!

Не понимаю только, где они могли взять деньги. С чего Антон вернет? Чем расплатится? Не мое это дело, я выпить хочу.

– А где Виленка? – спросил Антон.

– В ванной, последнюю красоту наводит, – сказал с усмешкой Гайдуков. – Сейчас появится...

И в тот же миг, чтобы ни на секунду не подвести своего замечательного муженька, выскочила Виленка – и снова объятия, чмоки, всхлипы, возгласы удивления, бездна дурацких восторгов, будто годы не виделись. Виделись. И не так уж восторгаются.

Виленка что-то рассказывала Ирке, та делала заинтересованное лицо, а сама смотрела на нее с сочувствием. У нас в семье все так относятся к Виленке – она очень здоровая, красивая, доброжелательная, абсолютно безмозглая корова. От Гайдукова она переняла строй и форму речи, в ее устах слова этого шустрого языкатого нахала выглядят кошмарно. И говорит она степенно, очень глубокомысленно, рассудительно, и от этого глупость ее особенно вопиет.

А Гайдуков хитро, быстренько ухмыляясь, обнимает ее, гладит крутой высокий зад, ласково, сладко приговаривает: «Ах ты, моя умница, мыслительница ты моя ненаглядная, советчица и наставница многомудрая!»

– А что, Андрюшенька, я разве что-то не то говорю? – удивляется Виленка.

– Все правильно, моя травиночка, все умненько, моя родная, ты все всегда говоришь правильно, – смеется Гайдуков и продолжает докладывать Антону про спартакиаду, с которой он только что вернулся.

С веселым хохотком рассказывает о жульничестве судей, подтасовке результатов, о запрещенных подстановках игроков, о выплате денег «любителям» сразу после финиша, о переманивании спортсменов, взятках и огромных хищениях на этом развеселом деле.

Я потихоньку выпил еще рюмку, пока гости устремились в коридор на звонок, кто-то пришел, судя по возгласам – Севка с женой.

Оттуда раздавался бойкий голос Гайдукова:

– Слушай, Севка, шикарный цирковой анекдот: «Инспектор манежа объявляет: внимание! рекорд-ный трюк! один раз в се-зо-не – „Борьба с евреем!“. В номере участвует вся труппа!»

Ха-ха-ха! Хи-хи-хи! Хе-хе-хе! – это Севка дробит смех, как сахар шипчиками.

– ...Ты чего такой кислый сидишь?

Передо мной Эвелина – Севкина жена.

– Привет, я не кислый. Я задумался...

– Задумался? Ах ты, мой тюфяк любимый! Разве так здороваются с близкой родственницей? Вставай, вставай, дай я тебя расцелую, сто лет не видела...

Она целует меня, а я пугаюсь – так льнет она ко мне своим гибким змеиным телом и целует своими твердыми горячими губами быстро, крепко, будто покусывает, а потом мягким

языком проскальзывает незаметно и мгновенно между моими зубами, и язык уже напряжен, он толкает меня во рту хищно и требовательно, он мне объясняет, что и как надо делать, и губы ее уже обмякли слегка, они влажны и нежны, и засос ее глубок, словно колодец, голова кружится. Она резко отодвигается от меня, смотрит смеющимися глазами на неподвижном фарфоровом лице, серьезно говорит:

– Вот это и есть настоящий родственный поцелуй. Можно сказать, сестринский...

Я негромко говорю ей:

– Ты извращенка, Эва...

– Конечно! – Она смеется. – Смерть надоела преснятина. Не извращнешься – не порадуешься...

И жмет меня острыми маленькими грудями. А я и так в углу. Мелькают перед глазами ее блестящие зубы, небольшие острые клычки, под пепельными волосами просверкивают на ушах бриллианты, и пальцы ее где-то у моего лица, и на них тоже переливаются бриллианты, и на шею струятся – она вся как новогодняя елка.

– Отстань, ведьма...

– Ох, Алешенька, деверек мой глупенький, ничего-то ты в жизни еще не смыслишь.

– Это Севка ничего не смыслит, когда оставляет тебя здесь по полгода...

– Ему наплевать – заграничная дорожка. Им бабы не нужны, они там, как ээки в лагере, онанируют. Это им интереснее...

– Я бы на его месте тебя бросил! Я ведь знаю, с кем ты тут без него путаешься.

– Алешенька, дурашка, потому ты и не на его месте! Ему бросить меня нельзя – долго за кордон выпускать не будут, разведенца эдакого...

– А чего же ты его не бросишь?

– Зачем? Нас устраивает. Мы ведь извращенцы...

– Эва, ты подкальываешься?

– А как же! – И захохотала солнечно. – Мне без этого никак невозможно.

– Погибнешь, Эва. Мне тебя будет жалко, ты ведь хорошая баба.

– Не жалею, дурашка, мне лучше. Да и аккуратничаю я – всего помаленьку...

– Ты знаешь – тут на малом не затормозишь.

– Не бери себе в голову. Мы все обреченные. Да плевать! Жаль только, что я своего дуrolома узнала раньше тебя. Нам бы с тобой хорошо было – мы оба люди легкие.

– Не знаю, – покачал я головой.

– Околдовала тебя твоя евреечка, – усмехнулась Эва. – Это у тебя морок. К бабкам надо сходить – может, снимут заговор.

– А я не хочу...

– В том и дело. Это я понимаю.

– У тебя что – роман неудачный?

– Да нет! Просто как-то все осточертело! Мой идиот совсем сбрендил...

– Это ты зря, Севка не идиот. Он свое разумение имеет.

– Ну, Алешечка, подумай сам, какое там разумение! У него солдафонский комплекс. Ему ведь нельзя в форме показываться, глисты тщеславия жрут немилосердно. Прихожу домой третьего дня, он разгуливает по квартире в шинели и в своей полковничьей каракулевой папаше. И фотографирует себя на поляроид! Ну и сам посудите! Какая должна быть дикость, чтобы такую варварскую шапку сделать почетной формой отличия. И он гордится ею!

– У нас у всех маленькие слабости, – засмеялся я, представив Севку в зимней шапке душным вечером – позирующим самому себе у аппарата.

– Ах, Алешечка, маленькие слабости у него были семнадцать лет назад. А сейчас... Ладно, давай лучше выпьем, пока они сплелись в пароксизме родственной любви.

Мы выцедили с ней по большой рюмке, медленно, с чувством, и я захорошел. Завалился в кресло. Эва уселась на подлокотник, задумчиво сказала:

– У меня иногда такое чувство, что моя психушка – это и есть нормальный мир. А все вокруг – сумасшедший дом. Ездила в этом месяце на кустовое совещание а Свердловск, жутко вспомнить. Больные лежат по двое на кровати, персонал везде ворует, дерется, не знает дела. Белье не меняется, медицинские назначения путают или не выполняют, жалуются больные – вяжут в укрутки, возмущаются – глушат лошадиными дозами аминазина. Обычные наши безобразия в провинции удесятерятся. А у нас в отделении держат просто здоровых...

– Эва, не по тебе это дело, ты бы отвалила оттуда. А?

– Ну что ты несешь, Алешка? Куда я могу отвалить? Мне сорок лет, я кандидат наук, всю жизнь на это ухлопала. Куда мне деваться? На БАМ? Шпалы класть? Или переучиться на косметичку?

– Ты ведь знаешь, Эва, как я к тебе отношусь, – поэтому и говорю. У нас творят жуткие вещи. За это еще будут судить...

Она сухо, зло засмеялась:

– Дуралей ты, Алешка. Никого и никогда у нас судить не будут, мы все связаны круговой порукой. Кто будет судить? Народ? Эта толпа пьяниц? Или...

Тут все ввалились в столовую.

– Все по местам, все по местам! – хлопотал Гайдуков.

Загремели стульями, зашаркали ногами, посуда пошла в презвьяк, все усаживались, удобнее умазывались, скатертью крахмальной похрустывали, что-то голодно взборматывали, шутили, стихая помаленьку, пока все не заняли привычные, раз навсегда заведенные места.

Отец во главе стола хищно пошевеливал усиками – я только что сообразил, что они родились из бериевских, просто подросли на пару сантиметров по губе. От обозримой еды, а главное – от предстоящей выпивки он поблагодужел, стихнул маленько рысячий блеск в его круглых глазах. Одесную – Антон, нервно-веселый, с каменными желваками на щеках, за ним Ирина с близоруко-рассеянным взглядом, сосредоточенная на своей главной мысли, что женщины мира разделены на две неодинаковые группы: в одной Клаудиа Кардинале, Софи Лорен и она, а все остальные – коротконогие таксы. Дальше сидит Гайдуков, квадратный, налитой, похожий на гуттаперчевый сейф, Вилена со своим красивым глубокомысленным лицом многозначительной дуры, пустой стул их сына Валерки, для будущего счастья набирающегося здоровья в спортлагере. А денег ему, видать, папка достанет.

Мать. У нее складчатое твердое лицо, прокаленное плитой – как рачий панцирь. Глаза стали маленькие, старушечьи, внимательно нас переглядывает, всех по очереди, будто пальцами кредитки отсчитывает, сердцем теснится, чтобы лишнюю не передать.

Потом – я, унылый смурняга. Никого не люблю. И себе надоед. Невыносимо. Слышу, как повизгивают стальные ниточки троса, перетираются, с тонким звоном лопаются. Сколько осталось?

Рядом Эва, вся сверкает, переливается, ноздри тонкие дрожат. Плохо кончит девочка. Ее гайка с резьбы сошла. Когда-то еще было время – тихонько назад открутить, с болта снять, маслицем густо намазать, снова аккуратно завернуть – и дожила бы тихо, в заплесневелой благопристойности. А она – нет! С силой гонит гайку дальше – на сколько-то еще оборотов хватит?

Неужели Севка этого не видит, рукой не чувствует, как раскалилась от бесцельного усердия ее жизнь? Нет, похоже, не видит. Или замечать не хочет. Белозубая улыбка, как капуста на срезе – «а-а-лично!».

И дочка их, Рита, ничего не видит, ни на что, кроме яств на столе, не обращает внимания – у нее какая-то странная болезнь, чудовищный аппетит. Жрет все, что попало, когда угодно. И сама – с меня ростом, худющая, белая, как проросшая в подвале картошка. Тоста не дождалась – в жратву врезалась, уши прозрачные шевелятся.

Отец поднял рюмку:

– Ну, с Богом! За наше здоровье!..

Ап! Понеслось! Чего они так о здоровье пекутся? На кой оно им? Мать в поликлиники ходит, как на работу. В три поликлиники – в их эмгэбэшную, в районную и в мою писательскую. В сумке всегда – десять дюжин рецептов, прописей, медицинских рекомендаций. С ума сошла на этом.

Водочка «Пшеничная», водочка «Посольская», водочка «Кубанская». Вся экспортная, желтым латунным винтом закрученная. Водка с винтом – аква винтэ. Где берут? У меня точка зрения нищего учителя чистописания, попавшего на купеческий обед.

Еще по одной шаррахнули. В голове поплыл негромкий гул, умиротворяющий, приятный, фиолетовой дымкой он отделял меня от родни, их чавканья, суеты, разговоров.

Собственно, сами-то разговоры я слышал, но успокаивало отсутствие связи, логики, сюжета. Я не прислушивался к началу и не обращал внимание на концы.

Снова выпили. И закусили. Неграмотный скобарь Гайдуков объяснял Антону какую-то философскую теорию, поразившую его красотой слов. Наверное, у себя в бане слышал.

– Ты, Антоша, пойми, современная жизнь происходит в мире процессов и в мире вещей... Мы включены в мир процессов... но мир вещей заставляет...

Действительно смешно – мир политических процессов и мир импортных вещей.

– Молодец, Андрей! Жарь круче! – крикнул я ему.

– Да, мир процессов порождает...

– Давайте выпьем за нашу мамочку! – это, конечно, сынок Севочка.

Давайте выпьем. Можно за мамочку. Спасибо тебе, мамочка, дай тебе Бог здоровья. Мать улыбалась застенчиво, с большим достоинством. Заслуженный успех. Золотая осень жизни. Пора сбора плодов.

Я заел травкой и неожиданно для себя спросил:

– Никто не знает – может быть, я Маугли?

Все на миг глянули на меня, Гайдуков спросил:

– В каком смысле? – а Эва громко захохотала.

Но все уже отвернулись, в пирог с вязигой врубилась.

– ...А на счет равенства – это демагогия. Равенство – это не уравниловка! Да, не уравниловка!.. – распинался Антон. Умный ведь человек, а чего несет. – Мой опыт и мой труд дороже, и я должен больше получать. Равенство – это не уравниловка...

Равенство, ребята, это не уравниловка. Советую вам, отлученным от семги и водки на винте, это запомнить покрепче. Равенство, стало быть, не уравниловка.

Оторвалась на миг от тарелки долговязая блеклокартофельная девушка Рита:

– Мне один мальчик стихи прочитал, послушайте:

Чтобы нас охранять – надо многих нанять,

Это мало – службистов, карателей,

Стукачей, палачей, надзирателей.

Чтобы нас охранять – надо многих нанять,

И прежде всего – писателей!

Вот тут наступила тишина. Ласковый дедушка посмотрел на нее зеленым круглым глазом, добро пообещал:

– Гнить твоему мальчику в концлагере – это уж ты мне поверь, я в этом понимаю.

И первый раз подала голос Эва:

– Никто ничего не знает, никто ни в чем не понимает – в смутные живем времена...

Гайдуков, чтобы выровнять обстановку за столом, велел всем наливать по рюмкам, а пока рассказал анекдот: на здании ЦК вывесили стандартное объявление – «Наша организация борется за звание коммунистической». И еще одно: «Кто у нас не работает, тот не ест».

Выпили, выпили, еще раз налили.

Отец, пьяненький, горестно бормотал:

– Что же происходит? Что же на свете делается? Помню, сорок лет назад «Красный курс» в «Правде» печатали – утром первым делом бежали к почтовому ящику, прочитать быстрее, ждали как откровения. Развернешь лист – как к чистому источнику прильнешь. А сейчас дети не хотят нашей мудрости. Как же это? Ведь возьми любую веру – что еврейскую, что мусульманскую, что христианство – на тысячелетие старше. А ведь стоят! А у нас – и века не прошло – разброд, ересь, шатания, раскол, предательство. Как же заставить?

Подвыпившая Эва засмеялась:

– Захар Антоныч, заставить можно в зону на работу выйти, а верить – заставить нельзя. Это штука добровольная...

– Ты-то уж помолчи! – махнул на нее рукой отец.

А Эва ему со злостью, с пьяным скребущим выкриком ожесточения:

– Это почему же мне помолчать? Вы только что рюни разливали, что ничего не понимаете. Так я вам могу объяснить, коли не понимаете. А вы со своим наследничком, славным продолжателем, послушайте...

Севка взял ее за руку:

– Угомонись, Эва, успокойся...

Она вырвала руку, пронзительно, как ножом по стеклу, сказала-плюнула:

– Коли вам веры жалко нашей, приходите ко мне в психушку, послушайте, что мои больные толкуют. Я-то знаю, что они нормальные, это вы – сумасшедшие. И я нормальная, только я такая же бандитка, как и вы, и всем объясняю, будто они не в своем уме. А они – в своем и говорят, что вера ваша похилилась от вашей слабости – коли бы могли убивать, как раньше, миллионы, может быть, и стояла бы ваша кровожадная вера, а поскольку сейчас хватает сил только на выборочный террор, то страх остался, а вера – пшик! Нет больше вашего алтаря, залило его давно дерьмом и кровью...

Спазм удавкой перетянул ей горло, и она по-бабьи расплакалась.

Рита вскочила, стала гладить ее по плечам, успокаивать, что-то тихонько шептала ей на ухо.

Севка растерянно катал по скатерти хлебный мякиш. Отец грузно встал и, волгло топая, ушел из-за стола. Яростным глазом испепеляла меня мать. Антон молча качал своей огромной башкой, досадливо вскряхтывая – и-е-э-эх! Ирка и Вилена перепуганно глазели на Эву. А Гайдуков заметил:

– Вот и повеселились! Как говорится, семьей отдохнули...

14. Ула. Спор

– Ула! Это я – твой унылый барбос... – По легкой хрипловатости голоса в телефонной трубке, по некоторой замедленности речи я поняла, что Алешка прилично поднабрался. – Чего делаешь?

– Сидим с Эйнгольцем на кухне, готовим жаркое...

– И наверняка многомудрствуете?

– Пытаемся. – И подумала о том, что все сказанное мною Шурику неубедительно, умозрительно, голо, похоже на плохо пересказанный сон, на мелодию, напетую человеком без слуха. Я оправдывалась перед собой.

Алешка помолчал, задумчиво заметил:

– Не люблю я его...

– Я знаю. По-моему, зря.

– Может быть, я ревную?

Через раскрытую дверь я посмотрела на Шурика, его выпуклые глаза за толстыми бифокальными линзами, пухлые щеки, конопатые руки в рыжих волосиках, засмеялась:

– Пока нет оснований...

– Ты, наверное, не хочешь, чтобы я пришел?

– Хочу. Всегда.

– Совестно – я опять напился. Со своими разругался вдрызг.

– Это ничего – вы помиритесь. Ты ведь их любишь, помиришься.

– Я их ненавижу. Видеть не могу!

– Это – когда вы вместе. А врозь с ними – не можешь. Ты их любишь. Наверное, это хорошо.

– Ула, можно я тебе скажу кое-что по секрету? Я тебя очень люблю.

– Спасибо. Только больше не говори никому. Пусть это будет моя тайна.

– Я еду? Можно?

– Жду. Жаркое скоро будет готово.

Но он уже бросил трубку – помчался. Я боюсь, когда он пьяный гоняет по городу на машине. Но здесь уж ничего мне не поделывать. Вообще, наверное, никого ничему нельзя научить. И пытаться глупо.

Я вернулась на кухню, и Шурик спросил меня:

– Это Алексей тебе звонил?

– Да.

Он помолчал, потом бессильно развел руками:

– Это ведь надо, как все в нашей жизни запуталось! Нарочно не придумаешь.

– Да, не придумать, – кивнула я, мне не хотелось сейчас снова говорить об этом, я ведь уже знала все наверняка.

– Ула, я чувствую себя очень виноватым, – потерянно сказал Эйнголец. – Я не имел в виду сплетничать, я не хотел повредить Алешке в твоих глазах. Я ведь и про твоего отца ничего не знал. Я не мог предвидеть, что все так совпадет... В конце концов, руководил-то всем делом генерал Крутованов. Отсюда, из Москвы...

Я подошла к нему, обняла и поцеловала в жесткую рыжую макушку:

– Не оправдывайся, Шурик, тебе не в чем винить себя. Спасибо, что ты мне рассказал – мне так проще жить. Яснее вижу. Алешка ни при чем, он был ребенком. А отца не прощу им никогда...

Я ощутила, как тугой комок подступает к горлу. Отвернулась к плите, скинула с чугунок крышку, стала быстро перемешивать жаркое. Нехорошо делать людей свидетелями твоих слез – они от этого чувствуют себя виновато-несчастливыми.

Шурик неуверенно сказал:

– Может быть, все это ошибка? Что-нибудь перепуталось, не о тех людях сказали... Ведь сейчас уже ничего выяснить нельзя...

– Нет, это не ошибка, Шурик. Ты сказал все правильно. Я кое-кого расспрашивала – все сходится. Я себе так все это и представляла... И Крутованова мне называли.

Шурик сидел в неподвижной напряженной позе, было очень тихо. Ровно гудела газовая конфорка, аппетитно шкварчало жаркое в чугунке. Даже паралитик за стеной сегодня не бушевал. Может быть, его повезли на трехколесном кресле за город, и он закаляется там как сталь.

Вечерней зеленью медленно заливалось небо, теплый ветерок бессильно колыхал тюлевою занавеску, на дне дворового колодца тонкий женский голос старательно пьяно выводил слова: «Милый мой уехал, позабыл меня...» Звериная тоска заброшенности и обреченности переполняла меня, выплескиваясь брызгами злых и беспомощных слез.

Господи! Зачем Ты взыскал меня, не дав завтрашнего дня?

Зови – не дозовешься, жалуйся – никто не слышит. Мы никому не нужны, никому не интересны. Как жить дальше? Строим на песке. Сеем на камне. Кричим на ветер. И слезы – дешевле воды.

Все со всем согласны. Я устала со всем всегда соглашаться. Я больше не могу бояться. Мой организм отравлен страхом. Мы мутанты ужаса третьего поколения. Мы наследуем его в клеточках, в генах.

Все со всем всегда согласны. Все довольны.

– Шурик, а может быть, уехать отсюда к чертовой матери?

Эйнгольц скованно пошевелился на диванчике, его силуэт на фоне окна начал наливаться сумраком.

– Для меня это не выход, Ула...

– Почему?

– Вера христианина только укрепляется от насилия.

Наверное, он почувствовал, что его слова прозвучали как-то неубедительно-книжно, и добавил торопливо:

– Да и вообще – я боюсь, что нам поздно менять свою жизнь...

– Но ведь мы же еще нестарые люди – нам по тридцать! Можно много успеть...

– Но за эти тридцать лет мы окончательно сформировались здесь. Мы люди русской культуры, а наша культура и там никому не нужна, наши страдания безразличны, а опыт нашей жизни они не могут и не захотят воспринять! Хорошо устраиваются на Западе зубные врачи и ремесленники – они хотят и могут забыть всю свою жизнь здесь. А мы разве можем перечеркнуть нашу жизнь? Мы и туда повезем печать своей неустроенности, неумения приспособиться, мы на всю жизнь отравлены неверием в людские обещания и намерения. Нет, мне кажется, не имеет смысла – поменяем шило на швайку.

В его горячности, приготовленности слов, в окончательной уверенности мне чудилась недостоверность. А разве можно примириться – прожить всю жизнь в неволе? И не решиться на побег – ни разу – только потому, что там, за стеной, живут другие люди, с другим укладом, с другими представлениями?

Они и должны быть другие. Наверное, наша культура им действительно не нужна. Но она и здесь не нужна, ее надо скрывать, ибо она отрицает официальную культуру.

Я бы там смогла быть уборщицей. Нянькой. Мойщицей машин. Приходящей домработницей, если никому не нужно то, что я знаю. Мы ведь очень плохо представляем тот мир. Как другую планету.

Но в одном я уверена: не может быть там этого постоянного замораживающего страха повседневных унижений, боязни сиюминутного насилия, ужаса смерти.

Я сказала медленно Шурику:

– Мне кажется, что ты очень боишься. Не того, что там будет. А здесь.

Он сразу же согласился:

– Да. Я боюсь дойти до ОВИРа. Меня тошнит от страха...

Да, это ведь и неудивительно. Как болезнь. Она стала наследственной. Такой громадный террор – он ведь уже и не акция устрашения, и даже не политический метод, он давно стал постоянным стихийным бедствием. Вирусы подозрений, инфекции доносов, нелепость бытового заражения, постоянное ожидание первых симптомов своей обреченности. Террор – как эпидемия, кого и не покарает напрямую – смертельно, но и его, и всех окружающих захватит. Проверки, анализы, рентген души, этого – пока отпустить, этого – на карантин, этого – в барак.

Но ведь в бараке – все больные, а я...

И ты больной. А может, не больной, не важно!..

Дезинфекция! Дезинфекция!

Этого – в барак, этого – в крематорий.

Подождите, я здоровый!

Дезинфекция!

В барак, в крематорий...

Дезинфекция!

Я здоровяк с дооктябрьским стажем!

В крематорий, в барак.

Сила эпидемии, ее громадная устрашающая суть в хаотичности, в видимости бессмысленности – никто не знает, кого завтра увезут на черных дрогах.

Надо забиться поглубже, подальше, стать незаметнее, неслышнее, совсем бесплотным – может быть, волну заразы пронесет на этот раз...

Во дворе загудел мотор Алешкиного «москвича», ревнуло железное эхо в колодце, глухо булькнуло и стихло.

– Жаркое готово. – Я встала к плите.

– Да, – равнодушно кивнул Шурик, – от всех этих дел и разговоров есть не хочется. Кусок в горло не лезет...

Ввалился Алешка с большим бумажным пакетом в руках, протянул его мне.

– Мне Вилена с барского стола потихоньку отжалела. – Подошел к Шурику, ернически поклонился: – Брату моему во Христе – низкий поклон...

– Здравствуй, Алеша, – мирно сказал Шурик.

– Нуте-с, отец Александр, нельзя ли с вами договориться об отпущении моих бесчисленных грехов?

– Простой мирянин, не рукоположенный в сан, не вправе отпускать кому-либо грехи, – спокойно ответил Шурик. – Вот как ты, например, не можешь меня принять в ваш Союз писателей. Это, наверно, компетенция ваших иерархов...

Алешка ехидно засмеялся:

– Но ведь и с нашими, и с вашими иерархами можно легко договориться... – Потом махнул рукой. – Сто лет спорь – никто еще никому ничего не доказал. Накрывай, Ула, на стол, я-то сыт, а вы, наверно...

Я развернула пакет, который привез Алешка. В нем была большая бутылка водки с желтой латунной винтовой пробочкой, пакетики с красной рыбой, баночка икры, крабы, жестянка с паштетом из гусяной печенки. Это ему сестра дала. Нет, это все-таки чудо, что при таком питании они умудрились сохранить родственные чувства.

Застелила стол желтой, как закат, скатертью, расставила тарелки, приборы, хрустальные рюмки. Зачем в моем доме хрустальные рюмки? Глупо.

А мужики на кухне ожесточенно разорались. Слова пузырились, подпрыгивали над кипящим варевом из разговора, лопались, вздувались, разлетались брызгами, исчезали прочь. Слова.

Господи! Что делать?

Научи, надоумь, направь – все так перепуталось.

Ведь он их любит. Он их любит. Родные ссорятся – только тешатся. Родная кровь дороже.

Шурик говорил ломким высоким голосом:

– Как же ты, Алеша, не хочешь замечать очевидного – Антихрист приходил, и имя ему – Сталин. Еще святой Кирилл Иерусалимский определил его, сказавши – Антихрист покроев себя всеми преступлениями бесчеловечия, так что превзойдет всех бывших злодеев и нечестивцев, поскольку имеет ум крутой, кровожадный, безжалостный и изменчивый!

– Но Сталин давно сдох! Разве кончилось царство твоего Антихриста?

– Нет, конечно! Остается здесь вечный и страшный соблазн сатанизма! Трудно только впервые воздвигнуть Антихристовы чертоги, а потом-то уж!.. Я просто ахнул, когда прочитал у святого Ефима Сирина: «Достигнув цели, Антихрист ко всем суров, жесток, непостоянен, грозен, неумолим, ужасен и отвратителен, бесчестен, горд, преступен и безрассуден». Это же фотографический портрет Великого вождя всех народов. Но сделан портрет за сто лет до воцарения...

Антихрист? Может быть. Но для меня в этом обличье он был слишком умозрительной фигурой. Он представлялся мне личностью более исторической, реальной, конкретно-земной, и звали его пратысячелетнее воплощение – Ирод Идумеянин.

Та же извращенная сладостность болезненного властолюбия, безумие всеобщего подозрения, выжженная пустыня нормальных человеческих чувств и отношений.

Как много подобий – круг за кругом они уничтожали вокруг себя все живое – друзей, единомышленников, сподвижников, родственников.

Любимая жена Идумеянина – Мириам, не воскликнула ли ты перед казнью: «Аллилуйя! Аллилуйя!»?

Убитая супругом Аллилуева ползла еще по залитому ее кровью ковру, шептала застывающими губами: «Господи!.. Святая Мария!..»

Ирод великий пресек свое семя, задушив в темнице двух сыновей.

Великий Сталин убил руками Гитлера своего пленного сына Якова. Сын Василий умер в сумасшедшем доме. А дочь Светлана, сбежав из царства свободы, придала этому кровавому анекдоту какой-то особенно издевательский бесовский характер.

Ирод умер на переломе исторических эпох, по мертвой его плоти жизнь провела разрез, как неумолимый нож парасхита разваливает труп пополам, и люди стали считать свою память, определяя время как Старую эру и Новую эру, и мерить свои свершения счетом ДО и ПО нынешнему летосчислению, вбив пограничный столб в день рождества Иисусова. Я не верю в мессианство Назарея, но я надеюсь, что незримо уже вбит еще один столп новой эпохи...

15. Алешка. Обет

Проспал, не заметил, как ушел Эйнгольц. Невелика потеря. Жаль лишь, что стал слабеть – сон наваливается неодолимо, нет сил бороться. Становлюсь алкашом. Или уже стал?

От выпивки засыпаю внезапно. Тревожно, но сладостно и обреченно, как вяжет путами сон замерзающего насмерть человека. И просыпаюсь в ужасе, с беспорядочно молотящим, захлебывающимся, глохнущим сердцем – как пойманный шпион. Глаз не открываю, боязно осматриваюсь из-под смеженных век.

В темном картоне комнаты настольная лампа вырубил красноватый круг света, и спсонья мне видится над головой Улы, сидящей у стола в центре круга, дымящийся золотистый нимб. Открыл глаза совсем – Ула пишет что-то на карточках. Она сидит в своей любимой позе – подложила под себя одну ногу. Белизна другой ноги исчезает в темноте, будто сидит она на краю проруби. Я почему-то вспомнил, как мы пошли с ней впервые в ресторан, кажется в «Метрополь», чудовищный ресторан, похожий на перевернутый вверх дном бассейн, и все одинокие гуляки жадно глазели на Улу, я видел по их влажным глазкам, что они раздевают ее, прикидывают, примеряют, оценивают, что все они хотят, по крайней мере, потрогать ее, плотную, гибкую упругость ее спины, нечаянно скользнуть жадной ручонкой по талии, захватывая хоть пядь высокого крутого зада, а если выманить на округло-пошлые томные па завывающего в зале танго, то ведь можно прижать теснее ее твердую грудь к своему пиджаку, набитому сальными пятерками и командировочными предписаниями. Хватанув раз-другой для храбрости, они по очереди подходили к нашему столику и приглашали ее на танец, и я хотел всем им дать по роже, а Ула держала меня за руку, лучезарно улыбалась им всем, ласково говорила: «К сожалению, не могу – у меня протез ноги...» Они смущенно отходили и со своих мест все пытались рассмотреть под нашим столом, какая же из этих двух длинных прекрасных ног – протезная.

Ула подняла голову, посмотрела на меня, улыбнулась.

– Ну, как жил?

– Плохо, – буркнул я. – Змий попутал.

– Ох уж этот твой вечнозеленый змий, – покачала она головой. Но не сердито. И славу богу – ссориться не будем. Я лежал, укрытый пледом на тахте, а Ула за столом в другом конце комнаты, и мы разговаривали вполголоса, будто боялись среди ночи разбудить ее деда на портрете.

– Давай устроим пир, – предложил я.

– Давай, – улыбнулась Ула. Она тоже любила наши ночные пиры – нам было мало обычной отделенности, нам была необходима громадная уединенность ночи, когда все спят, когда город пуст, когда полмира замерло недвижно до утра. Мы останавливали время, оно заполняло комнату вокруг нас, оно поднималось над нами, как воды у запруды, мы плавали в ней – бесплотные и вечные, соединенные ощущением своей единичности и своей близости, и в эти часы время становилось для нас пространством, пока рассвет не промывал в плотине тусклые бельма серых окон, и время с неслышным плеском утекало прочь, и мы, испуганно озираясь, обнаруживали себя вновь на каменистом берегу общего бытия.

Робинзон, почему ты не оставил нам тайно координаты своего острова?

Ула прошла через комнату, накинула халат, отправилась на кухню, мне захотелось попросить ее не надевать халат, но я постеснялся. Кто знает – где похоть переходит в нежность, а сладострастие в застенчивость? Мне вожаделенна каждая ее клеточка, у меня теснит в груди, когда я смотрю на ее спящее беззащитное лицо, и часто мне хочется ударить ее с размаху кулаком в грудь или сжать тонкую руку до багрового кровоподтека. От ужаса я закрываю глаза и становлюсь сразу крохотным, меня всего распирает пронзительный крик – чтобы скорее она

взяла меня на руки и чтобы я весь целиком – от затылка до пяток – ощутил ее тепло, ее упругую грудь у себя на губах.

– Ула, помнишь, как мы ходили в планетарий? – крикнул я, а Ула с кухни ответила:

– Помню...

Жарким летним полднем, измученные жарой, людской толкотней, невозможностью выпить воды в автомате – уличные алкаши растаскали все стаканы, недовольные, усталые, чем-то обиженные друг на друга, мы шли по Садовой, и на Кудринке Ула вдруг сказала – пошли в планетарий?..

Внутри огромного блестящего яйца было тихо, прохладно и пусто. И лимонад в буфете. Электрические стены, цветные схемы. У входа билетерша с тяжелыми отечными ногами и онкологическим желтым лицом вязала из грубой деревенской шерсти толстую кофту – она утеплялась на зиму, она собиралась пережить холода. Она махнула нам – скорее, лекция уже началась!

Мы нырнули за портьеру – в темноту, текучий холодок, в отрешенность звездного неба. Ничего со света не различали глаза, только марево вокруг странного прибора в центре зала – исполинской двуглавой африканской тыквы, и сумеречный просверк бесчисленных звезд над головой.

Это был, наверное, детский сеанс – лектор бубниво рассказывал о нашей Солнечной системе, о нашей Галактике, о Млечном Пути, о Вселенной. Стрелочка света от его фонарика-указки металась среди звезд, перемахивая сквозь неподвижные пространства, скручивая в спираль время, она носила нас, двух заблудившихся путников, в бесконечности, из мира в мир, и переполняла меня печальная радость.

И в полумраке, обвыкшимися в темноте звездной ночи глазами, я видел на лице Улы задумчивое, напряженное выражение, будто она изо всех сил старалась вспомнить что-то очень важное. И для нее, и для меня, для всех.

И не могла.

Я целовал ее ледяные руки, тихонько обнимал за плечи, пытаюсь унять ее внутренний озноб, но она не замечала меня. Пришла на миг шальная мысль, что я теряю ее. Корпускула света, космический кораблик – стрелочка указки – выхватит Улу из моих рук и унесет через бездну и темноту к Ганимеду.

Но уйти из придуманной ночи в свет и духоту летнего дня все равно не хотел. Я боялся, но встать не было сил. Мне было страшно, но еще сильнее хотелось узнать – что она вспоминает.

Потом зажегся свет – лицо ее было в слезах. Я спросил:

– Что с тобой, родная?

Она покачала головой:

– Так... Ничего... Помстилось...

Мы шли по раскаленной улице, но мне не было жарко – всем существом своим я ощущал холод космической мглы, ледяное мерцание недостижимых звезд, дрожь одиночества при расставании. Ула взяла меня под руку, прижалась теснее, неожиданно сказала:

– В нашей священной книге – Талмуде – сказано: «Никогда человек не живет так счастливо, как в чреве матери своей, потому что видит плод человеческий от одного конца мира до другого, и достижима ему тогда вся мудрость и суетность мира. Но в тот момент, когда он появляется на свет и криком своим хочет возвестить о великом знании, ангел Метатрон ударяет его по устам. И заставляет забыть все...»

– Иди сюда, – крикнула Ула, – я сделала американские бутерброды...

Не знаю, почему они назывались у нас американскими, может быть, в Америке никто сроду и не видал таких бутербродов. Это я когда-то их назвал так, с тех пор и повелось. Возможно, была в этом подспудная идея об американском продуктовом изобилии.

Они еле помещались на тарелке – Ула срезала ломоть хлеба во всю длину буханки, чуть-чуть поджаривала на сковородке – до первого румянца, намазывала маслом, посоленным и поперченным, заливала томатом, клала сверху вареное мясо или колбасу и только потом устилала слоем ломтиков малосольных огурцов, поверху – майонез и только тогда перья зеленого лука и стружка редиски.

А из холодильника достала Ула недопитую бутылку «Пшеничной» – рюмки сразу запотели! Душа заныла от нетерпения.

– За тебя, Суламита, за тебя, Ульянушка моя дорогая!

Полыхнуло в глазах, теплая сумерь в башке разлилась, в груди что-то отмякло, тепло внутри, покойно. Все хорошо.

Даже есть расхотелось. Куснул пару раз от блюда-бутерброда – замечательно вроде бы вкусно, а есть уже нет охоты. Пьяниц спирт в крови кормит. Пока дотла не сжигает. Впрочем, и это не важно. Все пустое.

Ула сидела, подперев голову ладонью, молча, внимательно смотрела на меня. Мне не хотелось смотреть ей в глаза, я так и сказал, не поднимая век, уставившись на свой американский бутерброд:

– Давай, Ула, поженимся...

– Что? – удивленно переспросила она.

– Поженимся, говорю, давай. Пойдем в загс, распишемся или как там...

Если бы она бросилась ко мне в объятия, зарыдала от счастья или, наоборот, с презрением захохотала, или крикнула – «никогда!» – все было бы нормально. Обычно. Как у всех. В наше время писатели делают дамам предложения, как водопроводчики. Может, кто-то и умеет по-другому, но я их не знаю – не с кем посоветоваться.

Но Ула спросила тихо и ласково:

– Зачем? Зачем, Алеша, нам расписываться?

– Чтобы ты была моей женой!

– Ну а так я чья жена?

– Мы же не вдвоем на земле живем. Люди кругом, пусть знают...

– Леша, ведь меня мнение людей вокруг не интересуется. Ты это хочешь сделать назло своей родне.

– Допустим. Я им покажу, что мне на них плевать...

– Лешечка, когда на кого-то плевать, им ничего не доказывают! Но дело даже не в том.

Мне интересно – какую ты мне роль отводишь в этом показе?

– Моей жены. В браке это довольно заметная роль.

Ула грустно покачала головой:

– Не надо, Лешенька, ничего менять. Пускай все будет по-старому...

– Тебя устраивает такая жизнь?

– Не очень. Но ничего изменить нельзя.

– Почему? – взъелся я, хотя и понимал, что она права.

– Потому что невесты берут в таких ситуациях с женихов торжественную клятву бросить пить, а вместо этого купить польский шифоньер и цветной телевизор. Я ведь не стану брать с тебя никаких клятв...

– А отчего бы тебе не взять с меня клятву? Например, бросить пить?

Она пожала плечами:

– Мне это представляется жестоким и глупым...

– И не боишься, что я совсем сопьюсь?

– Уже не боюсь. Я знаю, что у тебя нет будущего. И у меня нет будущего. Нам очень повезло, когда мы встретились. Но вдвоем мы горим быстрее. И не хочу я, чтобы ты кому-то что-то показывал!

– Почему? Почему ты не хочешь? – тупо настаивал я.

Она тяжело вздохнула и сама налила нам в рюмки водку.

– Давай выпьем за нашу прошлую жизнь вместе, за ту жизнь вместе, что нам еще осталась! – Чокнулись, и я пальнул рюмкой в себя, и снова окреп, и уверенность стала тверже.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.